К 150-летию ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА

Литературный факт.
2021. № 4 (22)



Literaturnyi fakt [Literary Fact],
no. 4 (22), 2021



Научная статья
с публикацией архивных материалов
УДК 821.161.1.0
https://doi.org/10.22455/2541-8297-2021-22-49-135

Письма Леонида Андреева к Зинаиде Сибилевой
Часть 1 (1890–1891)

© 2021, Н.П. Генералова, М.В. Козьменко

Подготовка текста *Н.П. Генераловой*
Вступительная статья и комментарии *М.В. Козьменко*

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Санкт-Петербург, Россия
Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН, Москва, Россия

Аннотация: В публикации впервые представлен полный корпус писем Леонида Андреева к его первой возлюбленной — Зинаиде Николаевне Сибилевой. Роман между ними имел бурное и весьма нелинейное развитие в 1889–1892 гг. В письмах выявляются многие ранее не известные реалии жизни гимназиста и студента Андреева. Но более важным представляется отраженный в них некий дневник «душевных состояний», поток сложных, подчас «пограничных» психологических переживаний адресанта. Полагая (с отсылкой к авторитету Мопассана), что в письмах наиболее точно высвечивается личность человека, что они «раскрывают душу без всяких прикрас», Андреев вместе с тем рассматривал свои эпистолярные опусы (наравне с дневниками) как некоего рода упражнение в писательстве.

Ключевые слова: Леонид Андреев, биография писателя, письма, архивные материалы, русская литература начала XX в., культура модернизма.

Информация об авторах: Наталья Петровна Генералова — доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук, наб. Макарова, д. 4, 199034 г. Санкт-Петербург, Россия. E-mail: generalovanatalia@gmail.com

Михаил Васильевич Козьменко — кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник, Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук, Москва, ул. Поварская, д. 25 а, 121069 г. Москва, Россия. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1229-2210 E-mail: uzium@mail.ru

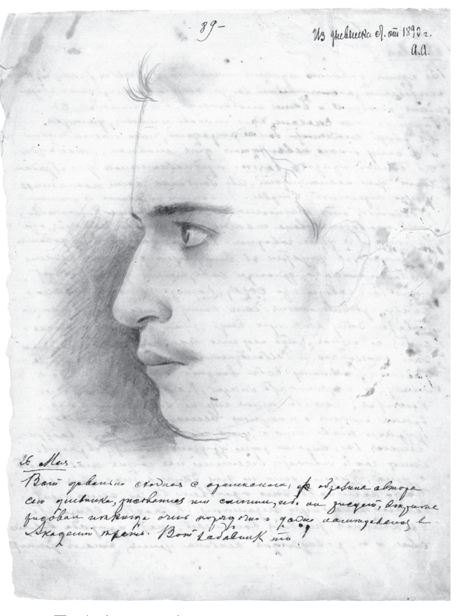
Для цитирования: Письма Леонида Андреева к Зинаиде Сибилевой. Часть 1 (1890–1891) / подгот. текста Н.П. Генералова, вступ. ст. и коммент. М.В. Козьменко // Литературный факт. 2021. № 4 (22). С. 49–135. https://doi.org/10.22455/2541-8297-2021-22-49-135

Материалы раздела к юбилею Л. Андреева подготовлены М.В. Козьменко.

Зинаида Николаевна Сибилева — первая большая любовь Л.Н. Андреева. В своих дневниках и письмах он несколько раз косвенно указывает на точную дату начала их отношений — 13 августа 1889 г. Леониду, перешедшему в седьмой, предпоследний класс гимназии, только что исполнилось восемнадцать лет, Зинаида, судя по всему, была его ровесницей. О Сибилевой известно, к сожалению, немногое. Она была из достаточно обеспеченной семьи (ее отец, Николай Евграфович, скоропостижно умерший в феврале 1891 г., был адвокатом). Отношения с Андреевым были глубокими и серьезными; они «сошлись», как тогда говорили. Но уже менее чем через год эта настоящая, «взрослая» связь становится психологически тяжелой для гимназиста, обремененного борьбой с нищетой, необходимостью окончить гимназию с хорошим аттестатом (ибо единственная возможность вырваться из нищенского прозябания — поступить в университет и получить профессию) и первыми всплесками алкоголизма. Но разорвать отношения был не в силах уже ни один из партнеров. Начинается длительный период тяжелой «полулюбви-полуненависти». Тяжесть ситуации Андреева усугубляется тем, что его (вероятно, как «неровню», рожденного в довольно простой семье, ныне впавшей в сугубую нищету) фактически третируют в семействе Сибилевых: «Действительно, одному лишь, пожалуй, хождению моему в дом Сибилевых можно приписать мое замечательно быстрое охлаждение и ту каторгу, а не жизнь, какую терпели оба мы с З<инаидой> до самого ее отъезда на урок. Положительно враждебная мне атмосфера Сибилевского дома с ее Николай Евграфовичем, сгорающим от бесплодного желания сбросить меня с лестницы, с сестрами, вечно иронизирующими и так же жаждущими отделаться от моего присутствия, со всей формальностью моего прихода, как прихода гостя, — могла действовать на меня только отрицательно» (*Дн2*. Л. 27 об.).

Начало публикуемой переписки связано с отъездом Зинаиды «на урок» (форма репетиторства) 20 июля 1890 г. И если на предшествовавших этому событию страницах дневника Андреев пишет об усталости от отношений, об упадке своей любви, то теперь даже эта короткая разлука заставляет его чувства вспыхнуть с неожиданной свежестью. Впереди однако еще более тяжелое испытание: после возвращения с «урока», Сибилева начинает собираться в Петербург, чтобы поступить там на курсы (она на год раньше Андреева закончила гимназию). Леонид, завороженный новой волной влюбленности в подругу, тщетно пытается удержать ее. Но 30 сентября 1890 г. в двенадцать часов ночи она уезжает в столицу. Письма, которые

пишет ей оставшийся в Орле гимназист последнего года, исполнены обожанием и подозрительностью, тоской и ревностью, дифирамбами и оскорблениями. Андреев тоскует, из «мести» пытается флиртовать с орловскими девицами (в частности, даже с родной сестрой Зинаиды, Натальей), пьет, дает уроки, пытается добиться в гимназии приличного аттестата…



Л. Андреев. Автопортрет на страницах дневника 1890 г., 26 мая: «Вот довольно сходная с оригиналом образина автора сего дневника, рисованная им самим…». Русский архив в Лидсе (Leeds Russian Archive). MS.606/ E.1. Л. 46.

L. Andreev. Self-portrait on the pages of the diary on 26 May 1890: “Here is a rather similar image of the author of this diary, drawn by himself...”. Leeds Russian Archive. MS.606/ E.1. P. 46.

Через год они оказываются опять вместе: Андреев поступает в Петербургский университет. Но совместная вольная жизнь, практически без оглядки на окружающих (как было в Орле), лишь усугубляет психологическую тяжесть общения. Судя по письмам и дневникам Андреева тех лет, Сибилева была такой же независимой и страстной натурой, как и он сам, и столкновение двух сходных характеров вызывало бурные эксцессы. Один из пиков — видимо, кульминационный — этой драмы приходится на весну 1892 г., по возвращении Андреева в Петербург после рождественских каникул, проведенных в Орле. В дневнике он так описывает эти события: «Приехал я сюда битком набитый мрачными мыслями и намерениями. Денег, а с ними и надежд на будущее не было никаких. Пьяная безобразная жизнь в Орле отразилась на душевном состоянии. Раскаяние, упреки совести, а с другой стороны, мнимая или действительная невозможность изменить свое поведение, остановиться на наклонной плоскости — делали положение безвыходным. Выход был один — самоубийство. Здесь в Петербурге начались неприятности с З<инаидой> — и я в конце концов в субботу на масляной совершил попытку на самоубийство. В оправдание

неудачи приведу то, что совершил я ее пьяный до бессознательности, затем — очень неудобным оружием, ножом, и наконец — меня удержали от второй попытки ударить себя. Потом был несколько дней в больнице, а потом — потом началась та мерзостная жизнь, которая тянется по днесь. Вся она вращается вокруг З<инаиды> и отравляется ею. Полная духовная зависимость от нее. Мое настроение духа зависит от З<инаиды>, и зависит именно так: она может в одну минуту изменить хорошее настроение на убийственно дурное, но не в силах, да и не в желании, конечно, дурное хоть когда-нибудь изменить на хорошее» [6, с. 257]. Но лишь осенью эта связь будет окончательно разорвана. Отметим, что разрыв с Сибилевой был, весьма вероятно, одной из существенных причин, повлиявших на перевод Андреева в Московский университет.

Отметим также, что в Орле и Петербурге подругой Сибилевой являлась радикально настроенная Вера Гедройц[1], которая, в частности, входила в разгромленный в 1892 г. нелегальный кружок Вейнштока (оба поминаются в письмах и дневниках Андреева). Видимо, Сибилева пыталась приобщить к каким-то протестным акциям и политически индифферентного Андреева (в беллетризованных воспоминаниях Гедройц говорится об их участии в демонстрации на похоронах известного радикального публициста Н.В. Шелгунова в 1891 г.[2]).

О жизни З.Н. Сибилевой после разрыва с Андреевым известно немногое: мемуаристы отмечают лишь тот факт, что она «вышла замуж за инженера» (и стала Паутовой); это произошло приблизительно в 1893–1894 гг. [12, с. 295][3].

В позднейшем дневнике Андреева 1897–1902 гг. она упоминается (явно или косвенно) несколько раз. Одно из знаковых воспоминаний — это «романтический» образ своей прежней подруги, противопоставляемой тесному мещанскому мирку: «Зинаида Сибилева с ее ненасытной жаждой подвига и страданий» [3, с. 106]. Второе — отразило реальный образ навестившей Андреева в сентябре 1898 г. замужней женщины: «Проезжала через Москву Зинаида и сегодня большую часть дня провела со мной. Все та же. Прибавилось несколько жизнерадостности, мечтает о работе, но думаю, что через месяц ударится в старую хандру. Постарела, подурнела. Во мне не

[1] Вера Игнатьевна Гедройц (1876–1932) — профессор хирургии, участница революционного движения, литератор, писала под псевдонимом «Сергей Гедройц»; см.: [11].

[2] *Гедройц С.* Отрыв. Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1931. С. 123.

[3] См. также: *Гедройц С.* Отрыв. С. 147.

будит никаких желаний — почти бесполое существо в моих глазах» [3, с. 175]. Последнее дружественное письмо Андреева «Зинаиде Николаевне» датировано 6 апреля 1902 г. Интересно, однако, что свой самый большой (и, вероятно, значительный для самого автора) дневник (который посвящен в основном следующей большой любви Андреева — Н.А. Антоновой) он в конце концов отдаст именно Сибилевой[4]. Произойдет это около 1908 г. или позже, что свидетельствует о неизвестных нам фактах позднейшего дружественного общения между бывшими возлюбленными. Отметим, что почти все ранние дневники (центральной героиней которых является именно Зинаида) писатель оставил у себя.

В письмах выявляются многие ранее не известные реалии жизни гимназиста и студента Андреева. Но более важным представляется отраженный в них некий дневник «душевных состояний», поток сложных, подчас «пограничных» психологических переживаний адресанта. Полагая (с отсылкой к Мопассану; см. п. 9), что в письмах более точно высвечивается личность человека, что они «раскрывают душу без всяких прикрас», Андреев вместе с тем рассматривал свои эпистолярные опусы (наравне с дневниками) как некоего рода упражнение в писательстве.

Письма Андреева к любимым, как понятно из вышесказанного, имеют крайне субъективный характер и даже в большей степени, чем его дневники, являют собой некую «психохронику»[5], пытающуюся уловить прихотливый поток мыслей, настроений и чувствований

[4] З. Сибилева в 1923 г. передаст этот дневник сестре писателя Римме Николаевне Андреевой-Оль [3, с. 242].

[5] По нашим наблюдениям, «в дневниках Андреева поражает усугубленная рефлексивность, крайняя сосредоточенность на собственных мыслях и чувствованиях, неизменно сопровождаемая напряженной самооценкой. Фиксация внешних событий (если для нее остается место), как правило, жестко связана с интроспекцией. Старательно сплетенная автором-героем дневника ткань многостраничных, до предела логически упорядоченных рассуждений, вместе с тем постоянно разрывается экстатическими взрывами эмоций (в последнем случае “архилогистику” неожиданно сменяет манера, близкая к “потоку сознания”). Таким образом, перед нами возникает весьма своеобразный тип повествования, который можно назвать психохроникой» [3, с. 4–5]. Можно также согласиться с первопубликатором андреевских дневников, Н.П. Генераловой: «Характерно, что письма к Сибилевой по стилю во многом напоминают дневниковые записи, носят столь же ярко выраженный исповедальный характер и дают богатый материал для проникновения в нравственные поиски начинающего писателя, являясь неотъемлемой частью его творческого наследия. Они уточняют и проясняют многое в дневниковых записях Андреева, нередко почти совпадая с ними по тону и настроению, так что подчас кажется, что письмо — это вырванная страница дневника, а страница дневника — неотправленное письмо (кстати, дневник предназначался Андреевым для чтения — об этом свидетельствуют неоднократные обращения к читателю и дальнейшая судьба дневника)» [6, с. 249]. Ср. образец развернутой записи из дневника — некоего «квази-письма» к Зинаиде (февраль 1892 г., см.: Часть 2 настоящей публикации, п. 51).

адресанта, в которых отразились бы интенции обожания, ревности и прочих оттенков «любви-ненависти», нацеленные на адресата. Однако нужно указать на мировоззренческую «надстройку», своеобразно окрашивающую эти эпистолярные излияния. В последних классах гимназии Андреев увлекается модными западными писателями: уроки «обольщения» заимствует у героев-циников Поля Бурже [9], отдельные письма подписывает именем героя популярного романа Фридриха Шпильгагена «Один в поле не воин» — Лео (личности «исключительной»). Но более всего его занимают труды столпов немецкого пессимизма — Артура Шопенгауэра [8] и Эдуарда фон Гартмана [10]. Отсюда черпаются представления о любви, женщинах, отношениях полов, роли в судьбе человека страданий и наслаждений и т. п., которые в существенной степени окрашивают письма Андреева в определенные, не самые радужные тона.

Нужно отметить, что «пессимистическая прививка» в определенном роде повлияла и на скептическое отношение студента — первокурсника Петербургского университета к общественному бурлению околоуниверситетской жизни (с собраниями и сходками, подчас имевшими явный подпольно-революционный привкус)…

***

Письма публикуются впервые, по рукописным автографам (РО ИРЛИ. Ф. 9. Оп. 2. Ед. хр. 26).

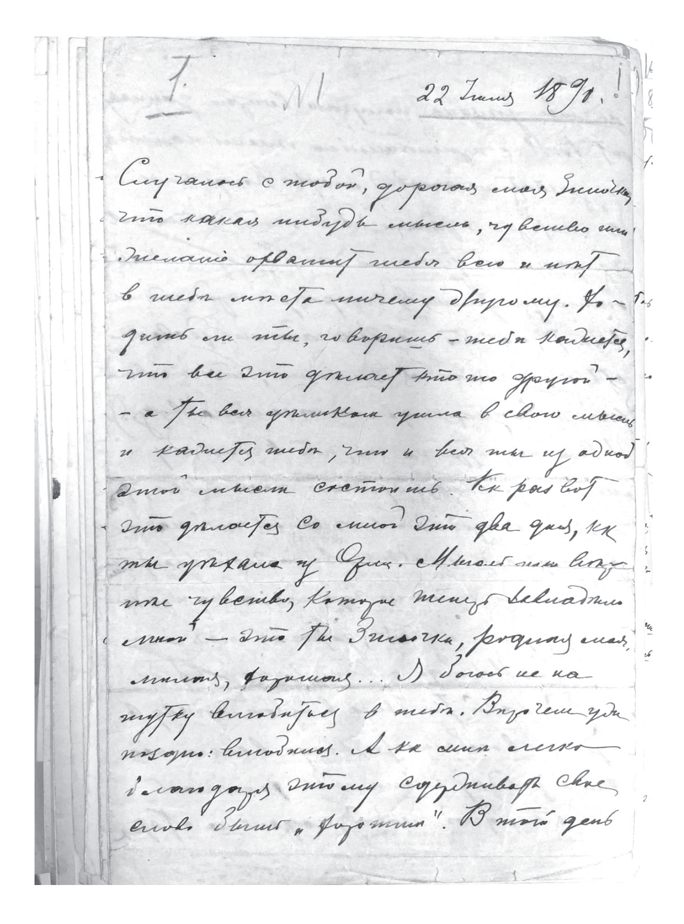
В настоящей публикации сохранены особенности авторского текста. Однако унифицировано устаревшее написание названий учреждений, издательств, печатных изданий. В тексте обычно не раскрываются используемые Л.Н. Андреевым и понятные из общего смысла инициалы, но сокращения, которые наиболее часто использовал автор: «кк» («как»), «п. ч.» («потому что»), «кот.» («который») и др., раскрыты. Если сокращенный текст мог быть истолкован неоднозначно, расшифровка приводится в угловых скобках. Пропущенные слова также восстановлены в угловых скобках.

1

22 июля 1890. Орел

22 июля 1890[1].

Случалось с тобой, дорогая моя Зиночка, что какая-нибудь мысль, чувство или желание охватит тебя всю и нет в тебе места ничему другому. Ходишь ли ты, говоришь — тебе кажется, что все это делает кто-то другой — а ты вся целиком ушла в свою мысль и кажется тебе, что и вся ты из одной этой мысли состоишь. Как раз вот это делается со мной эти два дня, как ты уехала из Орла. Мысль или, вернее, чувство, которое теперь завладело мной — это ты, Зиночка, родная моя, милая, хорошая… Я боюсь не на шутку влюбиться в тебя. Впрочем, уже поздно: влюбился. А как мне легко



1. 22 Июля 1890.

Случалось с тобой, дорогая моя Зиночка,
что какая нибудь мысль, чувство или
желание охватит тебя всю и нет
в тебе места ничему другому. Хо-
дишь ли ты, говоришь – тебе кажется,
что все это делает кто то другой –
– а ты вся целиком ушла в свою мысль
и кажется тебе, что и вся ты из одной
этой мысли состоишь. Как раз вот
это делается со мной эти два дня, как
ты уехала из Орла. Мысль или вер-
нее чувство, которое теперь завладело
мной – это ты Зиночка, родная моя,
милая, хорошая… Я боюсь не на
шутку влюбиться в тебя. Впрочем уже
поздно: влюбился. А как мне легко
благодаря этому сопровождать свое
слово Зина „хорошая". В этот день

Л. Андреев. Письмо от 22 июля 1890 г. РО ИРЛИ РАН
L. Andreev. Letter dated July 22, 1890 from Manuscript Division of IRL RAS

благодаря этому сдерживать свое слово быть «хорошим». В тот день, как ты уехала, получаю вечером записку от В<арвары> Н<иколаевны>[2] с приглашением ехать на лодке и захватить с собой мать. Когда мы с матерью пришли на место остановки, где они уже пили чай, Сахареночек[3] оттащил меня в сторону и предложил выпить, на что я с величайшим удовольствием согласился (помнишь, что я говорил о водке, когда мы ехали на вокзал?). И вот, несмотря на то, что в голове у меня шумело, шумело настолько, чтобы настроение изменилось и я начал выкидывать, по обыкновению, черт знает что — я ничего этого не сделал и по-прежнему думал о тебе, дорогая моя Зинурочка. И когда я вспоминал о тебе, такой, какой ты была в этот приезд в Орел, и в особенности когда вспоминал твою улыбку — мне так хотелось быть с одной тобой, подальше от этих неинтересных людей. Зато, когда вспоминались наши ссоры, вспоминалась вся гадкая и пошлая обстановка, среди которой эти ссоры происходили, становилось так тяжело и пусто на сердце — страх! А уж про И.И.[4] и не говори — вот теперь, когда я только сказал про него, мне уж хочется что-нибудь разбить или сломать. Только я эти черные мысли про ссоры и И.И. стараюсь отгонять от себя. Вот ты, Зиночка, говорила, чтобы я постарался не ходить в Сад[5] — а я вчера один вечер просидел дома — и чуть с ума не сошел от тоски: не могу ни за что взяться: тянет меня куда-то, хочется ходить, двигаться, уйти куда-нибудь, чтобы отделаться от этого желания жизни. А как вчера остался я один, как полезли мне в голову мысли о том, что я глупеть начал (серьезно!), что и чтение полезное и занятия мне впрок не идут и как сквозь бездонную бочку проваливаются — так впору хоть руки на себя наложить. Знаешь, деточка моя, когда я думаю о тебе, мне не целовать тебя хочется, не близко сидеть с тобой — а больше (не думай про какую-нибудь гадость, про то, «чего ты мне не позволишь») мне хочется *слиться* с тобой, скажу я, хоть это немного высокопарно выходит — да другого слова не подыщешь. Зиночка, не обращай, голубчик, внимания на дневник: — там ведь прошлое, а в настоящем я тебя люблю больше, чем когда-нибудь любил. Прощай, деточка моя хорошая. Написал бы больше, да знаешь, все это в письме как-то не так выходит. Меня теперь занимает мысль: как я мог уверить себя, что разлюбил тебя или, если правда разлюбил — то почему? Прощай, моя радость!

Твой — и теперь надолго — Л. Андреев.

---

[1] Письмо написано через два дня после отъезда Зинаиды «на урок», что радикально поменяло отношение к ней Андреева. См. запись в дневнике от 20 июля 1890 г.: «Зинаида уехала сегодня утром, и я провожал ее на вокзал и мне тяжело было

прощаться с ней, потому что я снова люблю ее и она опять так же дорога мне, хорошая моя Зиночка... Да, свершилось то, что не должно было свершаться, не могло, и не хотел я, чтобы оно свершилось, да видно, слишком рано я загадывал. <…>. А лучше Зинаиды нет никого и не будет. Что в ней говорит? ведь она читала мой дневник, а ведь в нем так много мерзости на ее счет... Любит ли она теперь меня? Теперь — да, но скоро, очень скоро разлюбит. Я прежде хотел этого — а теперь не хочу. Такая она хорошая...» (*Дн2*. Л. 12).

[2] Сестра З.Н. Сибилевой.

[3] Алексей Корнельевич Сахаров, товарищ Андреева по орловской гимназии, а позже — и по Московскому университету, юрист, одно время жил с ним вместе в номерах Фальц-Фейна, позже служил в акцизе в Карачеве Орловской губернии.

[4] Вероятно, во время очередной ссоры перед отъездом Зинаида рассказала Андрееву, что до связи с ним у нее были отношения с некоторыми их общими знакомыми, что стало источником постоянной ревности Леонида в последующем: «Зинаида сказала мне такую вещь, касающуюся своей прошлой жизни, что я просто не могу ей верить, не могу представить ее себе — а когда верю, страшно тяжело бывает. Както обидно становится за все свое прошлое. <…> А про И.И. противно, гадко вспомнить. Так и отрывается от тебя что-то, когда вспомнишь» (*Дн2*. Л. 12, 12а). Позже он возвращается к этому эксцессу: «В первом своем письме к Зинаиде, я говорил, что мне тяжело вспоминать о И.И.; она отвечает: “печалиться здесь нечего, потому что это было давно, когда я тебя еще не любила, а вот что ты скажешь, если тебя теперь поставить на мое место?” И здесь непонимание, полное непонимание, почему мне тяжело вспоминать и почему моих экспериментов с Н<атали> нельзя сравнивать с И.И. Здесь вся суть в том, что она И.И. любила, а я Н<атали> не любил» (Там же. Л. 18).

[5] Городской сад в Орле.

2

23 июля 1890. Орел

23 июля 1890.

Ах Зиночка, Зиночка — ты не поверишь, как тяжело мне вспоминать о своем дневнике, о том, что ты его читаешь. Вспомнится разом какое-нибудь выражение из него, которым я еще тогда любовался за его циничность или за то, что оно ясно выражало мою настоящую или мнимую подлость, к которой я тогда стремился — и станет так гадко, так мерзко. Чтобы понять этот дневник нужно знать, в каких обстоятельствах и под влиянием какой мысли он написан. Ведь когда я писал его, я гордился той двойственностью, которая была между тем, что я говорил и делал, и тем, что я думал. Мне доставляла удовольствие мысль, что вот — мол — все меня считают таким, а на самом деле я совсем иной, и для пущего удовольствия старался еще увеличить эту разладицу. Когда я заметил, что от этой разладицы только мне же хуже, — было уже поздно, да и неловко ворочаться назад. Потом ты знаешь, вот уж второй год мной завладела мысль о несостоятельности нашей нравственности, что нет ни «подло» ни «честно». Знаешь ли ты, какой идеал выработался у меня под влиянием этих мыслей: идеал подлеца-систематика. Не решаясь сперва на подлые поступки, я с радостью цеплялся за всякую мало-мальски

подлую мысль, носился с ней, гордился… Впоследствии оказалось, что и от этого одному только мне хуже, потому что всякая подлость труднее доставалась мне, чем тому, кому я ее делал. А там началась скука, все то, что хуже смерти вдесятеро; и если теперь начнется то же — я опять и подлости делать стану и все — только бы забыться как-нибудь.

А ведь этим дневником, родная моя, я всего себя тебе в руки отдал. Там ведь ни одной гадкой мысли не пропущено — а у кого их, деточка моя, не бывает? Разница только в том, что другой их забывает, а я записываю, — да еще с гордостью!

Да, Зиночка моя дорогая, я теперь весь пред тобою и *требую* того же от тебя. Ты мне говорила про И.И. и М<ихаила> И<вановича>[1]; я хочу знать про них *все*, а то эта полунеизвестность мучает меня страшно. Вот теперь, когда ты уехала и я чуточку пришел в себя — в особенности ярко выступает странность перехода от «Зинаиды, которую я не люблю», к «Зиночке, дорогой и милой». Родная моя, как мне хочется быть с тобой, целовать тебя. —

25 июля.

Пошел вчера в сад — и лучше бы я не ходил. По *не зависящим от меня обстоятельствам* пришлось быть вдвоем с Н<атальей>, следовательно объясняться — и опять пахнуло старым, опять грязными руками Теофилий[2] и проч. было отравлено все, что дорого было в моей любви к тебе и опять исчезла для меня Зиночка милая и дорогая, которую я так люблю, которая так близка мне. Жизнь несколькими глупыми словами разрушила все и что было новым — стало старым. Может быть то, что я сейчас пишу — дело минуты, но вот эти-то минуты и разрушают все.

Зиночка, зачем ты говорила дома про дневник, про мои отношения к Н.? Ведь ты знаешь, в какие руки отдаешь ты то, что я поверил тебе, только тебе одной. Лучше бы ты весь дневник отдала Н., но не делала посредницей эту Теофилию.

Я не хотел вчерашнего объяснения с Н., потому что я не ожидал от него ничего хорошего. Слушай, что сказала мне Н.: «Т.И. передала мне слова Зинаиды, что я вам разжигаю только кровь и советовала этому подлецу, т. е. Вам, дать в саду пощечину. Я согласна, что Вы подлец — и т. д.». Я принял это, как должное, потому[3]

[1] Орловский знакомый Андреева, судя по упоминаниям в дневнике, политический ссыльный, студент, исключенный из университета; какое-то время пользовался большим авторитетом; позже — объект ревности (см.: *Дн1*. Л. 53 об.; *Дн2*. Л. 38, 59, 62, 64).

[2] Теофилия Ивановна — родственница Сибилевых.

[3] Текст обрывается.

3

27 июля 1890. Орел

27 июля 1890.

Я твое письмо, Зиночка, получил в понедельник, а не в воскресенье, так что поневоле запоздал ответом. А я от тебя каждый день письма ожидал; отчего ты так долго не писала? Неужели из одного самолюбия? Оставь ты это самолюбие, Бога ради: и то ведь, говоря по совести, на долю его нужно отнести большую часть сцен, между нами происходивших, — а их ведь немало было и немало затормозили они любовь, по закону инерции долженствовавшую протянуться в бесконечность. Я очень рад, что тебе теперь не скучно: ты, очевидно, начинаешь привыкать к деревенской жизни. Постарайся на воле пополнеть и поправить свои нервы к приезду в Орел, где они у тебя опять расшатаются. Ты *до августа* не приедешь сюда?

Я тоже перестал скучать; да оно и мудрено в такую жару, какая сейчас у нас стоит. К тому же купил вот уж полторы недели столь желанный велосипед; пробовал несколько раз, учась кататься, сломать себе шею, но шею не удалось, а пришлось один день руку на перевязке носить, да вот теперь что-то с ногой сделалось, не только что кататься, а почти ходить не могу. Жизнь теперь вообще моя довольно полна и что лучше всего — идет по раз заведенному порядку — нечего голову ломать над тем, что завтра делать будешь… Утром хожу на урок, вечером в Сад, без которого я уже теперь не могу обойтись, — три раза на день пью чай и жалею только об одном, что каникулы, как и все в мире, имеют свой конец. Мое пессимистическое сознание тоже отдыхает: — немалая работа предстоит ему в августе… Каждый день почти вижусь в саду с вашими, беседую с ними, а больше, впрочем, молчу, одним словом, повторяю прошлое лето. Вот тебе вся, как на ладонке[1], моя жизнь. Уповаю, что и до конца лета она такой же останется. Я уже полнеть начал. Голова совсем не работает, читаю только вещицы легенькие и головы не обременяющие, а тяжелые и трудные, как все вообще тяжелое и трудное, оставляю до зимы. Да, я теперь начинаю поосторожней относиться к пище духовной: и то уже катар головы неизлечимый нажил…

Ну вот обо мне и все; сказал бы что-нибудь о других — да, к сожалению, не о ком и нечего. Вот в скорости, должно быть, явится в Орел Мих<аил> Иван<ович>, тогда поговорю о нем: ты, кажется, им интересоваться, к счастью, начинаешь. К счастью — для него, конечно.

Маменька с тетенькой тебе кланяются. До свидания! Желаю тебе всего лучшего. Ты спрашиваешь, что значит «пока»? Это переход к более простому.

Л. Андреев.

---

[1] Ладóнка — ладонь, рука (см.: Словарь русских народных говоров. Л.: Наука, 1980. Вып. 16. С. 237).

4

6 августа 1890. Орел

6 августа.

Не писал я тебе, дорогая моя Зиночка, все время потому, что, во-первых, боялся, что письмо мое не застанет тебя, а потом — уж слишком о многом переговорить с тобой нужно. Прежде всего твои письма. Буду говорить откровенно: они произвели на меня очень тяжелое впечатление. Ты называешь последнее мое письмо расстроенным — да и взаправду, Зиночка, я был очень расстроен, когда и писал его и ждал на него ответа; я хотел знать многое: и то, как отнесешься ты теперь, подумавши, к моей возродившейся любви, и какое впечатление произвел на тебя мой дневник (он все время страшно меня беспокоил)… Когда Вар<вара> в саду передает твое письмо, я с нетерпением распечатываю его, читаю — и остаюсь в полном недоумении. Остальные письма рассеяли мое недоумение и даже позволили мне сделать из них вывод, хотя очень печальный, но, кажется, справедливый: твои письма, с начала до конца, говорят о *разрыве*, говорят яснее, чем мои, с целью разрыва писавшиеся. Не говоря уже о таких фразах, не оставляющих никакого сомнения, как, например, «любовь настоящая, какая была у меня раньше, прошла», etc… — весь тон твоих писем, каждое слово в них дышит разрывом, не тем искусственным разрывом, к которому сводились все мои прежние письма, а настоящим, почти не сознаваемым тобой и тем более действительным. Я знаю, что я сам виноват в этом, с ног до головы виноват — но это только усиливает то мучительное чувство, какое я испытываю при мысли, что ты действительно разлюбила меня. Частенько сидя в саду или идя оттуда домой, я по обыкновению вспоминал тебя, вспоминал твою хорошую улыбку, которая до сих пор стоит передо мной, твои милые глазки, — и когда являлась проклятая мысль, что все это уж «не для меня, не для меня»[1] — я тогда *понимал*, как это из-за неразделенной любви люди убивают себя. Ты, может быть, скажешь, что я ошибаюсь, что ты все еще любишь меня — не верится, родная моя Зиночка… Треснувший *колокол не*

дает уж чистого звука — так и наша, твоя любовь. Ну довольно об этом — всего не скажешь, а тоску на себя нагонишь.

Я уж сегодня вечером надеялся видеть тебя — а вместо этого, оказывается, увидимся только 15-го[2]. Переход от одного к другому так резок, что я и посейчас не могу себе представить, как это мне еще целых две недели придется тянуть лямку и продолжать дело своего опошления среди Арханг<ельского>[3] и ему подобных. Да, хорошая моя Зиночка, я только теперь понял, какое значение имеешь ты для меня, как важно для меня твое присутствие: всем своим относительным «развитием» я обязан тебе, только тебе одной. А без тебя я и глуп и пошл и все что хочешь. Ты говоришь, деточка моя, что спокойнее перенесла бы эти две недели, если бы была уверена в моей верности. Ну, Зиночка, можешь быть спокойна: я тебе и не изменил ни одним словом, ни даже мыслью — и не изменю. Видишь, с самого твоего отъезда с Варварой я виделся только раз, на лодке; в саду я к ней не подхожу[4]

[1] Строки из популярного романса «Не для меня придет весна» (слова А. Молчанова, музыка Н.П. Девитте; 1838).

[2] Зинаида приехала 10 августа (*Дн2*. Л. 22 об.).

[3] Приятель Андреева. «Архангельские» как дружественное семейство часто упоминаются в его дневниках и письмах. С Еленой Николаевной Архангельской у него в августе — декабре 1892 г. был роман; см.: *Дн5*, [3, с. 102, 111; 6; 12, с. 212].

[4] Текст обрывается.

5

3 октября 1890. Орел

3 октября 90.[1]

Нового, Зиночка моя милая, нет ничего. Все вышло так, как я и ожидал: очень скучно, очень скверно без тебя, моя хорошая; ни за что браться не хочется, читать даже не читается. Первый вечер после твоего отъезда я еще крепился, твое присутствие заменил дневником, в котором все о тебе писал, ну а на другой день, когда уже и писать не хотелось, а хотелось только быть с тобой и целовать тебя — взял и напился. Прости, деточка, больше не буду. А вот теперь, в будни, еще скучней без тебя, потому что — идешь с урока и думаешь: некуда тебе спешить: никто тебя дома не встретит, не поцелует, и будет тебе дом тем же уроком. И вот сейчас, сидишь пишешь и невольно вспоминаешь, что неделю назад так же сидел здесь и писал — но здесь была ты, а теперь тебя нет; и становится скверно. Но все это старо, все это еще до твоего отъезда известно было: и то, что будет скверно, и то, что это скверно когда-нибудь пройдет. Был я нынче у доктора, Голостепова. И здесь

нет почти ничего нового. После весьма тщательного осмотра заявил следующее: грудь у меня очень здорова, только нервная система вконец расстроена, и все боли мои — нервного происхождения. Причина расстройства — ненормальная жизнь, которую я веду. А жизнь нужно вести такую: *как можно меньше утомляться физически и умственно*, не волноваться, есть как можно больше и лучше, не употреблять спиртных напитков, меньше курить, меньше пить чай и *совсем забыть о существовании женщин*, «ибо женщины, — как сказал он, — одна из главнейших причин вашего расстройства». При всем этом нужно каждый день устраивать души и глотать какую-то мерзость. Все это было и раньше известно. Видишь, Зинурочка, твой отъезд принес мне даже пользу: будь ты здесь, ни за что не стал бы я выполнять двух условий: вот о женщинах и потом, про которое я забыл сказать — спать каждый день не менее девяти часов. Последнего-то, да и многих вообще, мне и так исполнять не придется. Ну да ну ее все это к черту!

Скучно, Зинурочка моя дорогая, и занятия философией даже не радуют — а это дурной признак. Не хочется тебе даже обо всем этом писать: уж больно все орловским духом пахнет. Хотел я было с тобой о нашей любви потолковать, да голова как будто чем-то набита, двух слов не свяжешь. А завтра еще сочинение подавать — а я и не думал писать, завтра утром наваляю. Расскажу тебе по обещании, как я ехал домой с вокзала с Натальей. Сели мы на извозчика: верх поднят, темно, а погода холодная, ну и… начали мы с ней о гимназиях говорить, она о своей, а я о своей, а потом к Капиташке[2] перешли. Здесь произошла некая вещь, которая, боюсь, тебе не понравится. Нечаянно я в разговоре коснулся тебя и неосторожно дал понять, что люблю тебя… А потом мы приехали и я пошел домой. Когда я третьего дня был пьян, я написал в дневнике некоторые вещи, которых мне было потом так стыдно, что я даже эту страницу вырвал. Видишь, в чем дело: у меня помимо воли стало что-то вроде стихов выходить, очень скверных и притом пахнущих водкой и неверных. Так как думать я сейчас ничего не могу, то перепишу тебе их, надеюсь, не обидишься. И заметь, переход от прозы к стихам. Ей-богу, невольный.

«Зинурочка, жизнь моя, радость ты моя! Где ты теперь, что ты делаешь? Счастлива, довольна, может быть… А я… пьяный — опошляюсь среди пошлости, тупею среди тупости!

И вместе с тем холодный рассудок берет свое, доказывая, что *так* лучше, что эта любовь все равно к добру не привела бы! Привела — прошедшее время… и навсегда теперь, Зиночка, придется мне о тебе в прошедшем времени говорить: я любил тебя, Зиночка, и ты любила меня…

Да, я любил тебя и сейчас люблю — но всегда, и раньше и теперь, видел я то, что должно было положить конец любви нашей: разность нашу во всем, и в чувствах, и в желаниях, и во всем, что жизнь составляет. Мы оба и к правде и к свету стремимся, хорошие люди мы оба — но в иных условиях жизни родилась ты, иная среда воспитала тебя — и нет у нас ничего общего… (?) Я — плебей: весь многовековый вымученный опыт моих предков, рабов и холопей, передал мне одно лишь смиренье пред всем: пред жизнью, пред начальством во всех его видах, пред страстями…

Я смерти боюся, свободы не знаю, скованный вечно наследьем отцовским — холопскою кровью…

Я жил, прозябая… но ты мне явилась и новую жизнь мне открыла: жизнь мысли, жизнь чувства, жизнь жизни свободной… Меня подняла ты, и я, в благодарность, тебя ж разлюбил! Прости, моя радость, прости моя детка! — и вновь я тебя полюбил, да поздно схватился за разум, как видно. Ах, как тяжело мне сейчас! За что и зачем? Вот вечный вопрос, который судьбе предлагаю я, терзаюсь ли скукою жизни, иль *жизни* бесплодным желаньем. Вот счас: все тем же осталось: и комната та же, и та ж обстановка и так же сижу пред столом я, как прежде с тобою сидел, — а тебя уже нет, далеко ты… И может совсем уж забыла, что где-то, за тысячу верст от тебя есть Лина, который одну тебя любит, тобой лишь живет. Да, много есть в жизни и мерзости всякой и муки — но хуже разлуки с тем, кого любишь — нет ничего…

Тише: о жизни покончен вопрос — больше не нужно ни песен, ни слез!»[3]

Видишь, детка моя, ерунда-то какая писалась. И главное писалась вполне искренне и без всяких претензий. Ну да ну и ее к черту. Мне вот сейчас тебя просто до смерти хочется поцеловать, деточка моя, хорошая милая Зиночка — а вместо этого приходится ограничиваться одним: прощай! Поневоле рассердишься — и стихами запишешь! Зиночка, пиши мне поскорей. Чудачка ты этакая! Вспомнились мне твои слова из последнего письма: «скоро приеду в Орел и будем жить на одной квартире». Вашими бы устами, Зинаида Николаевна, да мед пить. Целую тебя. Скука ж какая, Господи…

К нам в 7-й класс поступил из елецкой гимназии Монастырев. Не тот ли?

---

[1] Первое письмо после отъезда Зинаиды в Петербург («30 сентября в 12 ч. ночи» — *Дн2*. Л. 27).

[2] Прозвище Николая Ильина, близкого друга Андреева (см. о нем.: *Дн1*. Л. 2, 8, 29 об., 93, 94). Прозвище, скорее всего, связано с тем, что Ильин, на год раньше за-

кончивший гимназию, вынужден был служить по военному ведомству в Курске, откуда периодически наведывался в Орел. Андреев называл его «воином поневоле» (*Дн1*. Л. 58 об.).

[3] Финальные строки стихотворения И.С. Никитина «Вырыта заступом яма глубокая…» (1860).

6

6 октября 1890. Орел

6 октября 90.

Странная вещь, Зиночка — твои письма. Ждешь-ждешь от тебя письма, получишь — и останешься в недоумении: что-то недоконченное, недосказанное, а чего ждал и что желал услышать от тебя — того нет. Вот, например, твое последнее письмо: половину занимает оборванный на средине рассказ о каких-то глупых маменьке и сыне, остальное — про Турчанинову и еще кого-то, а про тебя, про то, что ты чувствуешь и думаешь — нет ничего, или поток какой-нибудь слов, на основании которого нельзя составить ни малейшего представления о том, каково тебе *живется.* Объективность, бесспорно, хорошая и даже необходимая вещь в судебном протоколе, в письмах любящего человека совсем неуместна. Пиши мне, деточка моя хорошая, как можно больше про то, что ты чувствуешь, думаешь и делаешь и насколько можно меньше про то, что рассказывают тебе другие. Ведь теперь нам с тобой одни лишь письма остались, а что ж это выйдет, если ты в своих письмах будешь рассказывать про Ивана, а я про Петра. — Ты спрашиваешь, люблю ли я еще тебя? К сожалению, люблю, моя Зинурочка милая, и довольно основательно, надо признаться… Думая о твоем отъезде — когда ты была еще в Орле, — я составил целую программу «рациональной» и хорошей жизни. План этой жизни был очень прост: учиться, ходить на уроки — а по вечерам заниматься серьезным чтением. Но уехала ты — и все мои благие намерения прахом пошли: в гимназию-то и на уроки волей-неволей хожу, а что касается самой существенной части плана, т. е. дельного употребления вечера — не тут-то было: ни за уроки, ни за книгу взяться не могу; и весь вечер или мечусь взад и вперед по комнате, или лежу и размышляю о том, как скучно жить на свете. Твой отъезд произвел во мне страшную пустоту и умственную и душевную. Всю эту неделю я не живу, а прозябаю: ни мыслей в голове ни чувств; днем еще ничего: по привычке ходишь в гимназию, на уроке говоришь и думаешь, что там нужно — все это почти автоматически, ну а как придешь вечером домой, как встанет пред тобой картина всего вечера с его тоской и ничегонеделаньем — станет скверно; — сказал бы очень, но штука в том, что это очень

совсем теперь исчезло из моего жизненного обихода: бывает скучно, но не очень, бывает весело, но не очень, а все *так себе*. И вот самая интересная подробность в моем теперешнем настроении: все это проделываешь, т. е. ходишь на уроки, грустишь и проч., — как будто в ожидании *чего-то*, чего и сам, конечно, не знаешь… Состояние совершенно аналогичное с состоянием человека, когда ему нужно идти куда-нибудь на вечер, но он слишком рано собрался и вот теперь не знает, как убить эти остающиеся полчаса. Так и я убиваю свои вечера. А вот сейчас сижу и думаю: как раз неделю тому назад в это время я был с тобой: ты сидела и плакала, а я смотрел в твои милые глазки и говорил и думал: вот я сейчас в последний раз смотрю в них; скоро они будут далеко от меня и будут, глядишь, улыбаться кому-нибудь… И было тогда тяжело и гадко. И несмотря на это, душу бы свою бессмертную отдал я дияволу за то, чтобы теперешнее свое мирное и беспечальное житие заменить тогдашним, гадким и тяжелым. Передо мной лежит твоя карточка; посмотри и ты на мою, но только на последнюю, где я мрачен и зол — ибо таков я теперь. Ну да довольно об этом, *боюсь тебе надоесть*. Зинурочка моя дорогая, как мне хочется целовать, целовать тебя!

Да вот еще какая вещь: я вознамерился пресечь себе все пути к измене, буде меня к ней потянет, и с этою целью пустил в ход самое радикальное средство, бывшее у меня в руках: совершенно остригся и обрился. Ну и действительно: получилось такое безобразие, какого я и сам не ожидал. Мама, так та чуть не плачет, на меня глядя, а Андрюшка[1] совсем не узнает. В гимназии еще не видали; я и показываться боюсь; засмеют, подлецы…

Неужели ты, Зинурочка, не получила моего письма? Впрочем, убыток небольшой; одно там и есть существенное: мой визит к доктору Голостепову. Предписал он мне многое, и почти все невозможное, как я теперь убедился. Если не получила письма, напишу об этом поподробнее. Хотел было я завтра идти в концерт на Славянского, его капеллу послушать[2] — да концерт отменили и мне, чтобы не быть завтра вечер дома, придется идти в театр на галерку. А дома оставаться никак невозможно — тоска. Жду от тебя письма и целую тебя много-премного. Прощай, моя радость! —

Твой Л. Андреев.

От матери поклон.

---

[1] Младший брат Андреева.

[2] Дмитрий Александрович Агренев-Славянский (1834–1908) — российский певец и хоровой дирижер, собиратель народных песен. В 1868 г. основал смешанный хор «Славянская капелла».

7

12–13 октября 1890. Орел

12 октября.
Пятница.

Ну, Зинурочка — так много хочется сказать, что и не знаешь, с чего начать. Не думай, чтобы события какие-нибудь интересные были: все по-старому — но в этом-то и вся закорючка. По-старому хожу я в гимназию, где учу всякую ерунду до затемнения рассудка; по-старому хожу на уроки, где меня очень часто доводят до слез (факт!) и до грудной боли, от которой я в три погибели корчусь — все по-старому; одно, пожалуй, новенькое прибавилось — скука по вечерам, заменившая собою то, чем красива была моя жизнь, что скрашивало и заставляло забывать об этой каторжной, воловьей работе, положитель<но?> давящей, давящей меня. Эта работа, не прекращающаяся ни на день, не находящая ни малейшего отзвука себе ни в голове ни в сердце — поглощает всего меня. Она убивает во мне и мысль и чувство, доводя иногда до такого состояния, что положительно чувствуешь себя на границе сумасшествия… Долго было бы — да и не к чему: все равно дела этим не поправишь, рассказывать все то, что приводит меня к этому; одно лишь скажу: проклятие бедности и Тому, кто все таким создал!

А по вечерам, по вечерам… Лучше уж и не говорить, деточка моя… Поговорю лучше о чем-нибудь веселеньком. Помнишь ты, Зиночка, какой я был последние дни перед твоим отъездом? Ты даже говорила, что я не люблю тебя. Расскажу, так и быть, всю эту трагикомическую историю, тем паче, что все это, с тогдашним моим отчаянием включительно, имеет интерес, так сказать, исторический для нас — не больше. Видишь: таким страшным я был от массы мыслей, которые все можно выразить одним грибоедовским стихом:

Ах, если любит кто кого,
Зачем ума искать и ехать так далеко?[1]

Даже весело становится при воспоминании о том, как восхитительно глуп был я тогда! Вот теперь, когда свежим воздухом чуточку поразогнал весь угар, я отлично вижу всю эту глупость, а ведь тогда серьезно, честью заверяю, вполне серьезно думал я о том, что если бы ты любила меня, то должна была бы на один год отложить свое исканье лучшей жизни и остаться со мной, чтобы поддержать меня в неравной борьбе с жизнью и за жизнь, борьбе, в которой я сверну

себе шею… Теперь, конечно, я этого не думаю и верю, что ты меня любишь, а тогда, ей-богу, не верил, т. е. собственно думал, что ты меня меньше Питера любишь. Знаешь, милая моя Зиночка, как странно я люблю теперь тебя: как свою мечту или как воспоминание, так же, как люблю я, например, ну хоть своего отца. Так же и грустно и жалко становится, когда нечаянно вспомнишь или напомнит что-нибудь о тебе и с таким же чувством думаешь: «вот тут она сидела когда-то…». Как бы я желал, Зинурочка, перенестись сейчас к тебе, сесть с тобой и целовать тебя, целовать твои лапки, глазки твои милые — чувствовать твою близость и забыть, забыть про все!..

Избаловала ты меня, Зиночка: я теперь жить не могу без любви и такая у меня минутами жажда этой любви является, что даже страшно становится за себя: и как это я жизнь с этой жаждой проживу, ведь того и гляди скрутят и поведут бычка на веревочке — под венец — что значит конец всякой любви. А мне хочется постоянно любить (Замечаешь, Зиночка, я двух слов связать не могу; это от уроков, после которых я ни читать, ни говорить, ни писать не в состоянии. Я боюсь, что ты даже не поймешь меня). А у тебя, деточка моя, жажды этой нет? Петербург, впрочем, не такая безводная Сахара (в этом отношении), как Орел, который ты вполне справедливо ругаешь.

А мысль все возвращается к своему, что ни пишу и ни говорю. Тяжело, Зиночка, быть бедным, ой как тяжело. Все тебе господа — и всем ты раб. Какой-нибудь Иван Иваныч может исковеркать всю жизнь, поставив четверку поведения. Или, например, получу я на экзамене двойку по математике — и вся моя жизнь прахом пошла. А если и кончу? Что за жизнь впереди? В каком-нибудь провинциальном городишке покорять сперва на правах жениха сердца глупейших барышень, связаться, наконец, законным браком и, наплодив ребятишек, умереть, не испытав ничего, ничего хорошего, такого хорошего, чтобы всего тебя захватило.

Чем, например, отличается жизнь твоего отца от этой? А ведь он умный человек. Нет, не хочу я такой жизни. Хочу и любить и страдать и радоваться *вовсю*, а не принимать всего этого чайными ложками. Ведь жизнь одна и коротка она, эта жизнь. А тут, когда есть еще в груди чувство, когда все так манит, чарует тебя, когда хочется всего себя отдать чему-нибудь великому, хорошему, хочется забыться в гармонии чувства и мысли… да что тут! и пошлость, и мрак и работа, все притупляющая… А ведь ничего не может быть глупее, как *жаждая* жизни, лишить себя ей…

13 октября.

Сегодня суббота. Только что вернулся с уроков, мамы нет дома, где-то в гостях, детишки легли спать и я один, как есть. Ни читать, ни писать (я с неделю, должно быть, не раскрывал дневника) не могу. Тоска, тоска и тоска. А тут еще проклятая луна настроила черт знает как, просто не знаешь, что с собой делать. И впереди целый вечер. Да, сегодня суббота и, кроме того, — 13-е. Сегодня 14 месяцев нашей связи. И с тех пор ни одно 13-е не проходило так скверно, как сегодня. Бывало и горько и радостно — а сейчас пустота вокруг, пустота в самом тебе. И главное идет все недурно: исправился, хотя и с трудом, по истории, по остальным тоже гладко — лучше бы горе какое-нибудь. Тишина; одни часы. И ведь живешь одной надеждой на университет. А там что? То же хожденье по урокам, та же лямка, те же рассуждения о жизни взамен самой жизни… А хорошие минуты? Да и у каторжника бывают они, эти хорошие минуты, когда он, ложась спать, расправляет разбитые непосильной работой члены. Ну да к черту все это: «Полно, брат-молодец, ты ведь не девица: пей, пей, тоска пройдет!»[2]. Прощай, Зиночка. Целую тебя. Я тебя еще люблю. Пиши, деточка моя родная, почаще и побольше. Отвечу я тебе не раньше, чем получу ответ на *это* письмо, а то мы совсем запутались. Дорогая ты моя Зиночка, ты ведь любишь меня? Да? И я тебя также люблю.

Твой Линочка.

Целую, целую тебя.

[1] Реплика Софьи из комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» (1824; д. 1, явл. 5).

[2] Слова из популярной студенческой песни «Не осенний мелкий дождичек», основанной на одноименном стихотворении А.А. Дельвига (1829), в процессе фольклорного бытовании, однако, существенно переделанном. Музыка М.И. Глинки.

8

16–17 октября 1890. Орел

Твое письмо с извещение о перемене квартиры я получил в понедельник, а накануне я послал тебе письмо по старому адресу. Если ты, Зиночка, не взяла его еще, то возьми — хотя в нем очень мало или даже совсем ничего нет хорошего.

Я очень рад за тебя, Зиночка, что ты уже почти акклиматизировалась в Петербурге, и что вопрос о том, что тебе делать с собою, почти решен. Ты спрашиваешь моего совета о поступлении на курсы бухгалтерии и прочем — я, Зиночка, очень некомпетентен во всем этом и совет хоть того же Хлобощина[1], хорошо знакомого со всеми заведениями Петербурга, окажется гораздо пригоднее и полезнее.

Ведь притом же я совсем не знаю твоих ресурсов к жизни — а ста рублей, которые ты захватила, хватит тебе ненадолго. Да вообще и вся твоя жизнь в Петербурге представляется мне смутною и непонятною, потому что такие краткие характеристики, как: «пью, ем и сплю» так же хорошо могут охарактеризовать и орловскую жизнь и всяческую, как и петербургскую, а перемена квартиры, при незнакомстве с причинами, вызвавшими ее, только усугубляет мое недоумение. Ты, должно быть, до отъезда еще говорила что-нибудь обо всем этом, но все сказанное на этот счет тобою, вероятно, затерялось в тогдашнем хаосе мыслей и чувствований, обуревавших меня, так что я сейчас ничего не помню. Притом, каюсь, относясь тогда с предвзятою мыслью к твоему отъезду, я не хотел и слушать даже, что ты будешь делать в Петербурге.

Ну, Зинурочка, а в моей жизни ничего нового не прибавилось и не убавилось — с внешней стороны, впрочем, ибо извнутри — весьма многое поубавилось… Днем хожу в гимназию и на уроки, по вечерам — читаю французские романчики и рисую сального содержания картинки (по заказу отчасти Стаценко[2], а отчасти — по собственной склонности). В этом заключается моя жизнь умственная, что же касается физической — то дело швах, но не так, как прежде: натура берет свое, несмотря на все мои, по этой части, безобразия. Жизнь психическая, находящаяся в столь велией зависимости от физич<еской>, тоже, кажется, начинает приходить в норму… Здесь прямой переход к тебе. Острая тоска и абсолютная пустота во всем, явившиеся после твоего отъезда и продолжавшиеся первые три, четыре дня, сменились, — по вечным и непреложным законам природы — более спокойным чувством печали — «по утраченном идеале», как говорит директор — а эта печаль, в свою очередь, по тем же законам перешла в неприятное чувство утраты, когда вспомнишь о тебе. Переход этот продолжается обыкновенно несколько дольше — но у меня к законам природы присоединились еще известные обстоятельства (легкомыслие, например) и условия жизни, отнимающие возможность всякого вообще чувства. Да и где тут на самом деле чувствовать, когда с утра и до ночи на ногах и когда твоя голова в совокупности с языком всецело поглощены заботами об уроках своих и чужих! Временами, впрочем, является сознание того, что я теперь такое и *где ты*, и тогда чувствую себя очень несчастным и чуть не плачу и ненавижу тебя, и кляну все на свете. Очень тяжелые и гадкие минуты… Ты уж, конечно, заключила — и по обыкновению преждевременно, что я уже не люблю тебя; нет, я тебя люблю и очень — только вот эта тысяча верст… Доказа-

тельством этому, если хочешь, может служить мысль о полнейшей невозможности разрыва между нами. Лежал я вчера и фантазировал на тему «Зиночка», и представилась мне в будущем возможность такого случая: присылаешь ты мне письмо с кратким заявлением о том, что ты полюбила кого-нибудь и что между нами теперь все кончено — и при этом просьба возвратить тебе твои письма взамен моих, карточку и проч. И как представилось мне при этом, что ты теперь (т. е. тогда) совсем чужая, что уже не буду я тебе рассказывать про свои горести и свои мимолетные измены, что уж другой и целует и ласкает тебя, что у другого лежишь ты на плече и что между нами нет ничего-ничего общего: ты своей, а я своей дорогой — прямо как будто что-то в сердце кольнуло и… Эх, да и не может этого быть, Зиночка моя милая, и никогда я не поверю тому, чтобы мы стали с тобою чужими… Ведь я и изменяю тебе с мыслью о тебе, о том, что когда-нибудь все это расскажу своей Зиночке и пожурит она меня и будем мы с ней опять и милыми и дорогими друг другу… Боюсь, Зинурочка, что не поймешь ты меня, не поймешь того, что я чувствовал и чувствую, что такими же равнодушными глазами пробежишь ты все, сейчас написанное, как и книгу какую-нибудь постороннюю! Я люблю тебя — и в этом все горе мое!

17 октября.

Ну прощай, родная моя Зиночка, желаю тебе всего хорошего. Пиши мне, детка, поскорей. Отвечу я тебе тогда, когда получу ответ на это письмо. Целую тебя.

Твой Л. Андреев.

---

[1] Студент из петербургского окружения Сибилевой и ее подруг. Ср. запись в дневнике Андреева от 17 апреля 1892 г.: «Я, обозленный отчасти сообщением, отчасти тем, что меня ставят на одну доску с таким ослом, как Хлобощин, начал говорить то, чего не следовало» [6, с. 268].

[2] Семья Стаценко — знакомые, а одно время — и жильцы в доме Андреевых.

9

24 октября 1890. Орел

24 октября.

Ждал я, ждал от тебя, Зиночка, ответа на свое последнее письмо и вижу, что и не дождусь, если сам не напишу еще раз. Хочу опять поговорить о твоих письмах. Не помню, где-то, чуть ли не в Евангелии, читал я про голодного, которому люди вместо хлеба дают камень. И для меня, голодного и нищего духом, твои письма являются тем же камнем и как камень ложатся на душу. Не знаю, может я и ошибаюсь — но как будто мы на разных языках говорим и друг дру-

га не понимаем — до такой степени далеки и чужды выходим мы по письмам. А вместе с тем посмотри, что говорит о письмах Мопассан («Наше сердце»[1]): «Человек лучше всего познается по письмам. Речь ослепляет и вводит в заблуждение потому, что слушатель видит, как она сходит с уст, а уста эти нравятся и глаза подкупают. Тогда как черненькие буквы на белой бумаге раскрывают душу без всяких прикрас» и т. д.

Живу я, Зинурочка, так же, по-старому. Изредка пускаюсь в свет: был, уже очень давно, в театре, был на концерте Славянского, где видел всех твоих. С Варварой беседовал в концерте, а дорогой домой — с Натальей, которая рассказывала мне про свое новое увлечение (какой-то реалист). Был два раза у Пановых[2]; намереваюсь как-нибудь пробраться к Строеву и в маскарад. Всю эту неделю очень много рисую — и довольно удачно. Сначала рисовал разные сальности, но потом наскучило и вчера я нарисовал твой портрет, немного идеализированный. Как говорят все видевшие его, похож очень. Послал бы его тебе — да никак нельзя: мелки обязательно сотрутся, как его ни увертывай. Впрочем, на Рождество приедешь — увидишь. Вообще, с внешней стороны жизнь идет гладко. Недавно, например, вызвал меня вторично директор, чего я совсем не ожидал и потому урок знал плохо. Но мне удалось подчитать и директор поставил мне «5» и при этом произнес целую хвалебную речь, в которой превознес мой ум и способность мыслить и рассуждать. Потом по математике — написал в классе объяснение к задаче, очень плоховато, как мне казалось — и вдруг совсем неожиданно «четыре». По физике у меня стояло «четыре». — Вараскевич[3] сверх ожидания выпер меня — а я урок ни зуб толкнуть, — и я опять получил «четыре». Везет страшно и по латыни. У меня теперь, когда я отвечаю, вдохновение какое-то является и дар слова при этом соответствующий.

30 октября.
Вторник.

Прости, Зинурочка, что так долго не отвечал: совершенно не было времени; и вот теперь первые свободные минуты посвящаю на то, чтобы докончить письмо к тебе. Сама представь, какое стечение обстоятельств: прихожу в субботу из гимназии — и разом три письма получаю: от тебя, Сухорукова и Ильина. Узнаю при этом от братишки, что приехал и сам Ильин, действительно, как оказалось потом, удравший без отпуску на два дня в Орел.

Вечером этого дня, т. е. субботы, мы были с ним у Пановых (была там и Наталья), а оттуда он отправился ко мне ночевать и пробыл до половины следующего дня, т. е. воскресенья. Вечером же мы вместе

с ним отправились к Димитриевым[4], а потом к нему и, наконец, после чрезвычайно обильных возлияний — на вокзал. Кроме меня других провожатых не было. Да вот о Димитриевых: замечательно хорошее впечатление произвели они на меня, и я очень рад, что буду теперь, по всем вероятиям, посещать их. Самое главное то, что нет ничего похожего на дом Сибилевых, нет той убийственной атмосферы принужденности и всего прочего, что так скверно действовало на меня, привыкшего бывать только там, где мне рады. А у Димитриевых — простота и полнейшая непринужденность: чувствуешь, что и тебе рады, — и сам радуешься. Я уверен, Зинурочка, что все написанное ты поймешь так, как понимать нужно, а не выведешь из того, что я ругаю твой дом, что я и тебя не люблю.

Ну, а вчера мать была именинница, так что пришлось весь вечер просидеть с Стаценками. К тому же теперь я два раза в неделю возвращаюсь с уроков в 11 часов, так что времени решительно нет. А тут еще к четвергу сочинение писать нужно. Беда, да и только. Получил четвертные отметки: Закон, русский, физика и *поведение* — 4, остальные «тройки».

Ты, Зиночка, говоришь, что скоро мы с тобой будем жить в Петербурге. Едва ли, голубчик: ненавижу я твой Петербург страшно, и все симпатии мои на стороне Москвы, гостеприимной и радушной, Москвы, где все товарищи мои бывшие, где и побунтовать можно, и попить и погулять, где Михаил Иванович похорошевший и Ткачевский-пьяница, т. е. добрый человек… И начальства в Москве меньше и не такое начальство, как в Питере, где студентов начеку держат. Вижу, Зинурочка, что ты как следует за дело взялась. Помогай тебе бог, голубушка.

А я, деточка, опять начинаю в гартмановщину и шопенгауэровщину погружаться, хотя никого из сих славных философов и не читаю — так чтой-то от плохой жизни пессимизм обуревать начинает. И взгляд по временам безотрадный является, и на любовь, как прежде бывало, как на инстинкт и иллюзию смотреть начинаю — и более, чем когда-нибудь, мыслю об условности нашей нравственности и глупости и несуразности принципа: люби ближнего, как самого себя. Война всех против всех! — вот соль жизни, квинтэссенция соломоновской мудрости! К черту разум, к черту развитие с его дурацкими требованиями и претензиями. Будь животным, как и должно, ешь, пей, люби и веселись, пользуйся минутой и забывай о завтрашнем дне — вот философский камень, который я так глупо искал в книгах. И плюй на все! Прости, деточка, за сию ерунду, но она, ей-богу, сейчас занимает меня.

Твой портрет, Зиночка, оказался вовсе не так похож, как сначала казалось. Может, еще раз рисовать буду. Я тебя, Зиночка, люблю, и ты напрасно думаешь, что я изменил тебе: я тебе пишу одну лишь правду — честное слово! Не сердись на долгое молчание.

Твой Л. Андреев.

Как изменю — сейчас же напишу.

Зиночка, что я говорю о твоих письмах — ерунда: твое послед<нее> письмо очень хорошее.

---

[1] Роман Ги де Мопассана (1890).

[2] Пановы Николай Дмитриевич и Софья Дмитриевна — родственники Андреева. В 1895–1897 гг. Андреевым — студентом Московского университета — адресовано им 14 писем, все шутливого содержания (хранятся: РГАЛИ. Ф. 11. Оп. 1. Ед. хр. 44; из них 12 опубл.: [12, с. 94– 96, 99–102, 105–106, 109–111, 113–137, 141–143]).

[3] Лаврентий Павлович Вараскевич, учитель математики, физики и космографии Орловской мужской гимназии; см.: [1, с. 30].

[4] Дмитриевы — семейство орловского купца Николая Михайловича: жена Елена Викторовна, сын Сергей, дочери Любовь и Надежда. Настороженное отношение к нему со стороны Зинаиды Сибилевой было связано, видимо, с тем, что одно время Андреев пытался ухаживать за Любовью Николаевной (см.: п. 13). В конце концов отношения переросли в дружеские, Любочка помогала Андрееву материально в период острой нужды в Петербурге (подробно см.: [5]).

10

8 ноября 1890. Орел

8 ноября.

Согласно твоему желанию, буду говорить ничего не скрывая, даже мыслей, надеясь этим заслужить твое прощение. Да, Зинурочка, я очень виноват, запоздав отсылкой своего письма, но все-таки не так уж, как ты думаешь. Я запечатал его и положил на время в ящик, а потом мне почему-то вообразилось, что я уже послал его; и только через несколько дней, полезши в ящик и увидя там письмо, я схватился и послал его взаправду. При этом я ругал себя так, как, наверное, и ты не ругала. И в этом одном я прошу у тебя прощения, что же касается остального, то — поговорим…

1). О твоих письмах. Я их называю камнем для себя потому, что в них видно полное непонимание того, что такое «я», и что теперь волнует и терзает меня. Прочти все мои письма, вспомни все, что говорил я тебе пред твоим отъездом, вспомни всю историю наших отношений — и ты тогда поймешь и меня, и чего я жду от твоих писем. Я человек слабохарактерный, человек минуты. В этих свойствах заключается ключ ко всему, так возмущающему тебя. Для <меня> существует лишь одно настоящее, а ведь ты знаешь, каково это настоящее с самого твоего отъезда. Ты вон пишешь, что неприятно

в Петербурге то, что постоянно натыкаешься на картины борьбы за существование, борьбы за хлеб. Да, ты только натыкаешься, ты только, как в картинной галерее, видишь эти картины — и это тебе неприятно — а каково же должно быть мне, настолько же избалованному и изнеженному, насколько не привык я к труду и бедности, торчать в самом центре такой картинки, работать не разгибая шеи[1] и все-таки видеть, что нужда растет и растет? Меня тянет к роскоши, к обществу, к жизни привольной, широкой — а вместо того… Нечего удивляться и негодовать поэтому, если я топлю горе в водке и шаг за шагом, заведомо для себя, разрушаю свое здоровье и силы и все; нечего удивляться, что я ищу хоть где-нибудь уголка, где мог бы хоть на единую минуту отделаться от своих проклятых мыслей. Ты скажешь: «А будущее, а я?» Эх, Зиночка, подумай — и увидишь ты, что в будущем ждет меня такая же лямка, такая же каторжная работа, каторжная — ибо нет в ней иной цели, иного смысла, как набить брюхо себе и братишкам. А что касается тебя — так ведь, Зиночка, ты для меня приняла теперь форму *идеи*, неосязаемой и реальности не имеющей, а я ведь не из таких людей, которые умирают за идею. Мне нужно человека, нужно чувствовать его возле себя, забыть на груди у него всю муку, все горе — и даже поплакать: настолько я тряпка, — а мне вместо этого говорят: потерпи, деточка, и если будешь умницей, так приеду на Рождество и поцелую тебя, а потом, когда я через две недели уеду, ты… опять потерпи. Да, идея ты, Зиночка, идея — и больше ничего! А можно любить идею — и иметь любовницу. (У меня, впрочем, ее пока еще нет и ты ошибаешься, говоря, что я изменил тебе). И только поэтому пишу я тебе откровенно и напишу, когда изменю тебе. Ты говоришь, что я унизил тебя и себя Дмитриевыми. Это несправедливо, во-первых, по отношению к Дмитр<иевым>, которых ты не знаешь, и потом — по отношению ко мне, которого ты тоже не знаешь. Дмитриевы очень хорошие люди, а я — я ищу уголка и женской любви (но не любовных писем). Да, вот еще что, дорогая моя Зинурочка, по-разному смотрим мы на любовь: ты думаешь так, что если любить, так нужно забыть все остальное и жить одним только любимым человеком (на практике-то, впрочем, вышло иное: ты уехала в Петербург, хотя я предупредил тебя о том, что выйдет из этого), а я кроме тебя люблю и других, и общество и разные такие удовольствия — дело только в том, что тебя я люблю больше. Но если ты потребуешь, чтобы я любил *одну* тебя — я пасую.

Теперь приведу твои «возражения». 1). «Ты можешь переделать себя и не быть такой дрянной тряпкой». Не хочу, да и цели

не вижу; только даром намучаю себя. Впрочем, и невозможно это. 2). «Учиться, развиваться et cet.». Наплевать мне на развитие, кроме горя ничего не давшего мне; да потом и не развития хочу я, а жизни, любви… — Ты пишешь, что тебе *ничего* не остается теперь, как «самой пуститься в свет». Имеешь полное и неотъемлемое право. Я с своей стороны ничего не имею против, если ты рассчитываешь найти удовольствие. И можешь быть спокойна, что никогда и ни с кем ты *меня* не *унизишь*.

Воскресенье я провел так: утром рисовал, вечером отправился к Пановым. Н.Д. дома не было и мне пришлось быть с одними Соней и Зоей. Ушел домой в 10 часов. Не изменял тебе ни словом, ни делом, ни помышлением. У Дмитриевых еще не был, пойду в воскресенье.

Я тебя, Зинурочка, люблю и мне неприятно, что ты говоришь о каком-то оскорблении. Я не хочу тебя оскорблять, не хочу, мне тебя жаль, я тебя люблю — но мне и себя жаль и себя я, хоть глупо, но люблю.

---

[1] Семья Андреевых жила в относительном достатке, пока был жив ее глава, Николай Иванович. После его внезапной смерти в мае 1889 г. все заботы по содержанию семейства легли на плечи Леонида — старшего из шести братьев и сестер. Зарабатывал он уроками и рисованием (портретов по фотографии и т. п.). Семья также сдавала в аренду часть дома, закладывала вещи.

11

12 ноября 1890. Орел

12 ноября.

Положительно недоумеваю, куда адресовать тебе письмо. Напишу оба адреса. Ты, Зинурочка, не сердись, что я так нескоро отвечаю. Я пишу, когда мне хочется, а если принудить себя писать, то выйдет письмо очень злое и скверное, а я таких тебе, Зинурочка, посылать не хочу: ты и так на меня сердита. А ведь если подумать, так и сердиться-то ведь не за что. Вина моя в том, что я хожу к Пановым, Пацковским[1], Дмитриевым и т. д. — так ведь, Зиночка, не с тоски же мне умирать, сидя одному и не имея человека, с которым мог бы хоть словом перекинуться. Что я буду целовать других — так, Зинурочка, в этом ничего серьезного нет, так как люблю-то я все-таки тебя, а не кого-нибудь. И странно выходит, деточка моя, то, что ты после 15 месяцев таких близких отношений все еще не знаешь и не понимаешь меня, не понимаешь того, что я буду изменять тебе, буду целовать других и т. д., а любить только тебя и что всегда в конце концов я вернусь к тебе. Я знаю, что в этом ничего хорошего нету: я говорю только то, что есть. Я знаю, как ты посмотришь и что

скажешь на это… И знаю я, что твои взгляды гораздо и *честней* и выше — только они мне не по плечу, деточка. А подниматься до них, вообще коверкать свою натуру — хотя, пожалуй, и возможно — но бесцельно. Я хочу любить много — а ведь в этом случае мне всю любовь придется отдать одной — и выйдет мало и будет излишек. А ведь не в гроб же мне нести этот излишек с собой! Единственно хорошая вещь в свете — это любовь, и культу этой любви хочу я — по крайней мере теперь, — посвятить свою жизнь. Я хочу любить, хочу страдать и радоваться, жить хочу, а вместо того в данное время жизнь моя проходит в отправлении самых элементарных функций, вроде того, как бы попить, поесть, да спать завалиться. Умственный труд — вещь, конечно, хорошая — но дело опять-таки в том, что мне жить хочется, а не толковать о жизни, не мудрить над ней. Достаточно натолковался! И теперь еще является изредка отражение этих мудрствований в виде нелепых мыслей о самоубийстве.

Да, деточка моя, я тебя люблю, и очень. Жалею очень часто, что нет тебя со мной, жалею и тебя, бедную Зиночку, которой я доставляю одни неприятности за всю ее любовь и за все, что она для меня сделала (и что она кратко называет «скомпрометирована»). Очень рад был бы, если бы ты нашла людей, в обществе которых могла бы не скучать и потому жалею также о глупости Хлобощина и болезни Попова, хотя его к разряду интересных отнести нельзя. А то такая вещь глупая выходит: скучно мне, вспомню, что и тебе скучно — и станет вдвое скучнее. Весело мне, вспомню, что тебе скучно — и совестно веселиться становится. Очень глупо!

В субботу был у Пацковских — и чуть не плакал от злости, глядя на эту глупенькую Лелечку[2] и Коропета. Загубит он ее, дурак. И мать-то хороша — девчонке пятнадцать лет всего, а ей черт знает что позволяется. А Коропет этот глуп до безобразия: я целых три часа острил над ним, говорил такие вещи, за которые побить мало, а он, дурак, первый же смеется над собой и ничего не понимает! Вчера опять унизил себя — был у Дмитр<иевых>; впечатление такое же хорошее. Должно быть, скоро и к Архангельск<им> пойду, мне начинает нравиться эта смена лиц; и притом интересно иногда посмотреть на истинных человеков со всеми их животными атрибутами. Прощай. Целую тебя и еще раз говорю: люблю тебя.

Твой навсегда Л. Андреев.

(Последнее, впрочем, от тебя зависит).

---

[1] Родственники Андреевых, Николай Николаевич Пацковский — родной дядя Леонида Андреева со стороны матери.

[2] Возможно, Елена Николаевна Пацковская, двоюродная сестра Андреева.

12

19 ноября 1890. Орел

19 ноября.

Вот уж который день я напрасно жду от тебя письма, Зиночка… Объясняю я твое молчание трояко: или ты больна, Зинурочка, — и тогда прости меня, беспутного, что я так долго не пишу тебе; или же тебя рассердило мое последнее письмо, или же, наконец, ты совсем не получила этого письма (от 12 ноября), хотя я, не зная наверное, где ты живешь теперь, надписал оба адреса. В последнем случае ты до известной степени права, что же касается второго — то поговорим…

Сознаюсь, Зинурочка моя дорогая, что в письме этом я говорю иногда очень резко, и притом, как кажется на первый взгляд, очень оскорбительные и скверные вещи. Но ведь, голубочка моя, нельзя ставить этого в вину мне, так как я, только исполняя твое желание, пишу так откровенно и бесцеремонно. Я мог бы и обходить молчанием все, что я делаю и мыслю дурного — но что же бы тогда было? И как бы приятно было мне писать, а тебе читать такие заведомо фальшивые и притворные, гадко слащавые сочинения? Теперь же, Зинурочка, я пишу тебе, как вполне своему, близкому, родному человеку, который посердится на тебя, поругает и все ж таки останется тем же родным и милым человеком и не отринет тебя. Я знаю, деточка моя, что тебе, — как бы то ни было — страшно неприятно знать про меня, что я пью, что я ухаживаю, что я, наконец, со всякой сволочью изменяю тебе, моей милой, хорошей Зиночке, — но ведь, Зиночка, хуже было бы, если б я не пил и не ухаживал. И в водке и в любви я ищу лишь одного — забвения; я хочу забыть это «что-то», которое неуклонно ведет меня к могиле, которое не дает мне жить разумно и счастливо, как живут другие. Ведь, Зиночка, я несчастлив, страшно несчастлив; и в минуты успеха и кажущегося счастья, копошится внутри меня какая-то гадость и твердит мне, что — и сам не разберу я, но только такое ужасное и скверное, что и жизнь не мила становится и думаешь только о том, как бы отделаться от нее… Не думай, родная моя, что это одни фразы: ох, не к добру приведут эти «фразы» меня! И в твоей, Зинурочка, любви искал я забвения, и часто находил его и был счастлив, так счастлив, как никогда уж не буду. А теперь я люблю тебя и думаю о тебе так часто и много, что даже мешаю себе в деле забвения. Я знаю, что не имею права требовать от тебя любви, раз я такой подлец, но ведь не за добродетели любишь же ты (любила?) меня, а любишь просто потому — что любишь, так же, как и я тебя. А если нет — то рекомендую тебе добродетельного М.И.,

постоянного И.И. Панова и тупоголового Хлобощина, который будет носить поноски и с чувством лизать твою подошву, под которой будет находиться. А впрочем — дело твое: люби, кого хочешь и как хочешь — только пиши, чтобы знать мне, кем считать мне тебя и не находиться в этой гадкой неизвестности.

Вчера, только что я ушел с Архангельск<им> из дому к Дмитриевым, приходили ко мне В<арвара> и Наталья. Когда мне сегодня сказали об этом, я даже не поверил. Что это значит? Твоего здесь ничего нет? Я страшно ругал себя, что ушел из дому; их посещение доставило бы мне столько удовольствия… Жаль только, что немного поздно догадались они посетить меня. Все тревожит меня мысль о том, что ты больна. Пиши, Зинурочка моя, дорогая моя, ругайся, брани меня на чем свет стоит, но только пиши, иначе я подумаю, что в свете, в который ты намеревалась пуститься, ты уже нашла *суррогат* меня. И будь, главное, уверена, что я люблю, люблю тебя, моя хорошая Зиночка…

Твой Л. Андреев.

13

4 декабря 1890. Орел

4 декабря 90.

Прости за промедление — причины уважительные: на той неделе было чрезвычайно много дела, а с воскресенья я заболел очень сильно, так что не хожу даже на уроки. Вчера так болела голова, что я думал, не воспаление ли мозга у меня — что легко могло быть. А тут еще зубы. Поехал вечером к Валленштейну — рубль-то В. взял, а зуб дергать не стал, говорит, днем нужно. И сейчас нездоровится очень сильно.

Что мне сказать на твое письмо? Я, по крайней мере, из неоднократного чтения его вынес одно: что ты любишь меня вовсе не так сильно, как это тебе кажется и что, например, самолюбие твое, из-за которого ты не отвечаешь мне, чего доброго будет посильнее этой любви. Убедился я окончательно также в том, что ты совсем не понимаешь меня, как и я тебя. Совсем различно смотрим мы на жизнь и, что самое главное, на любовь. Ты видишь в ней что-то такое великое даже, что, во всяком случае, связывает на всю жизнь, а я смотрю на нее, как смотрю на все — на лишнее удовольствие жизни и жертвовать для нее ничем не стану. Не стану я для любви менять себя, не стану делать и того, что мне неприятно. Хочешь любить — люби меня таким, каков я на самом деле, не хочешь — можешь любить краснеющего реалиста или симпатизирующего сту-

дента, который, глядишь, окажется не такими эгоистом и подлецом. Я и сам не требую жертв: захотела ты поехать в Петербург и поехала, и я не стал удерживать тебя и просить подождать того времени, когда мы можем поехать вместе. Вместе с тем я предупреждал тебя, что твой отъезд — конец нашей любви и что я не стану жить тем, что находится за тысячу верст от меня и что я могу видеть два раза в год. Я хочу жить каждую минуту, а не два дня в год. И не из тех я честных и великих людей, которые переносят зло в надежде получить когда-нибудь за это удовольствие. Ты говоришь, что мое письмо дает тебе возможность определить наши отношения. Я сам желаю того же — и вот тебе данные для этой цели.

Ты просишь меня не унижать себя и не ходить к Дмит<риевым>. К величайшему своему сожалению, я не могу исполнить этой просьбы и буду ходить к ним — и теперь и на Рождество. Между прочим — я хочу просить тебя не делать моих писем общим достоянием и не говорить, кому не следует, будто я увлекаюсь Любовью Николаевной. Ведь я пишу тебе одной, Зиночка, а никак не всем. Относительно ученья и водки — определенного ничего сказать не могу. По всем вероятиям, не буду учиться, но буду пить. Обещанное же тебе — не возобновлять старого с Нат<альей>, я исполняю, хотя *мог бы* и не исполнить.

Когда я ставлю тебя, занимающуюся делом, живущую так, как жить надлежит, и себя, со всем моим пьянством и прочим — мне хочется еще больше пить и делать то, что навсегда бы разлучило нас. Прости, Зиночка, что мало пишу: нездоровится очень. На днях еще напишу. Главное, прошу тебя отвечать; молчание буду считать за casus belli, т. е. за прекращение наших отношений. Напиши, приедешь ли на Рождество. Я сознаюсь, что это письмо подло с начала до конца, но лучше, если ты не будешь обманываться на мой счет. Желаю тебе всего хорошего.

Твой Л. Андреев.

Мать кланяется тебе.

14

12 декабря 1890. Орел

12 декабря 1890 г.

Зиночка, — ты знаешь, какой я слабохарактерный и нерешительный человек, и вместе с тем взваливаешь на одного меня всю тяжесть решения вопроса: оставаться ли нам друг для друга тем же, чем мы были раньше, или же стать навсегда чужими людьми, потому что ведь если ты не приедешь в Орел, это будет значить, что

между нами все кончено. Я не в состоянии решить этого вопроса уже по одному тому, что люблю тебя, одну только тебя: всегда, прежде, теперь и после. Это правда. Сильнее того, чем я любил тебя, я никого и никогда любить не буду и помимо той любви, которую я отдал тебе, — другой у меня нет и не будет. Все мои увлечения и измены, бывшие и будущие, уживаются во мне с любовью к тебе и свидетельствуют не о том, что я не люблю тебя, но что я дрянь человек. Ты сама должна знать это. Ты знаешь, что меня клонит туда, куда подует ветер, и что этот ветер единственный закон и оправдание моих поступков. Нынче я оптимист, завтра пессимист, а потом еще что-нибудь такое — и все это не потому, чтобы взаправду видел скорби бытия, а просто потому, что обстоятельства у меня сложились известным образом. Я, впрочем, по живости своего ума всегда успеваю найти какую-нибудь «рациональную» причину для своей хандры и даже сам начинаю верить в нее — но все ведь это мыльные пузыри. И вот в этом письме я стараюсь избегнуть всей умственности и не хочу доказывать, как нужно поступать по справедливости. Это слишком обильный и объемистый вопрос двусмысленного свойства. Буду говорить только о том, что я чувствую, чего желаю и опасаюсь и что намерен делать. А там уж от тебя и твоего самолюбия будет зависеть решение задачи, приезжать или не приезжать.

Я сказал, что люблю тебя. Это не мешает мне изменять тебе самым пошлым образом, раз, и увлекаться на свободе всякой хорошенькой мордочкой — два. Я желаю, чтобы ты приехала, очень желаю, и вместе с тем опасаюсь (прости, но я не хочу оставлять недоразумений), что если ты приедешь, я буду связан, но не *твоей*, а *моею* любовью к тебе. Пойми это. Вследствие сего последнего я решил, насколько я вообще могу решить, как я буду вести себя на Рождество. Я буду *пить водку*, буду ходить к Дмитриевым, буду бывать у Архангельских и часто видеться с Ильиным. Вот это я буду делать, а почему, я тебе объясню. Когда ты в сентябре, несмотря на все мои просьбы, уехала (я тебя не просил прямо остаться, но в каждом моем слове видна была эта просьба, даже в моих угрозах изменить тебе; прочти все письма, которые я писал тебе вскоре после твоего отъезда — и ты увидишь то же самое) — я остался совсем один. Я вскоре положительно ошалел от этого одиночества, и, жертвуя своим самолюбием, стал искать общества, и после долгих усилий нашел. Каково это общество — к делу не относится: достаточно уж того, что у нас нет лучшего. И вот теперь единственная цель моя — удержаться в этом обществе. Ты скажешь, что, если Арх<ангельский> и прочие дороже мне тебя, то ты плюешь на подобную любовь. Нет не дороже, но дело

в том, что тебя я вижу две недели, а с ними живу весь год. А по-моему лучше все время хоть крохами, да питаться, чем раз наесться до тошноты, а потом зубы на полку. Оно, конечно, подобные <мысли> слишком пахнут дюжинной практичностью, — но я теперь вообще далек от идеализма — должно быть, от постной пищи.

Опасаюсь я еще одного — и если ты хочешь ехать в Орел, т. е. жертвовать Петербургом, студентами, Палкиным[1] и деньгами, ради *одного меня*, то, пожалуй, тебе не стоит ехать. Во-первых, я теперь очень изменился и мой характер стал еще хуже прежнего: крайняя раздражительность и придирчивость. Все от бедноты поганой. Во-вторых, эта самая беднота: у нас теперь до того гадко и скверно, что самому из дому бежать хочется. *Ты, впрочем, этого не поймешь.* В-третьих, — ты сама изменилась под влиянием среды и изменились твои взгляды. В результате ты найдешь в Орле много *горя* и мало *радости*.

Итак, я сказал все. Остальное зависит от тебя. Взвесь все и pro и contra. Что касается меня, то я люблю тебя и желаю твоего приезда. Прощай. Целую тебя — быть может, в последний раз.

Твой Л. Андреев.

Если не приедешь, обязательно ответь. А впрочем, можешь и не отвечать.

---

[1] Одна из достопримечательностей Петербурга того времени — ресторан-трактир Палкина на Невском проспекте.

15

20 января 1891. Орел

20 января 91 г.

Вот, Зинурочка, недавно ты уехала, а как будто уж целая вечность прошла с тех пор. А вместе с тем минутами так живо представляешь в воображении твою рожицу, когда ты, лежа на печке, стонешь от голода и к каждому слову присовокупляешь: «нельзя ли чего-нибудь поесть?», что мне кажется, будто все это вчера происходило.

Слава Богу, Зиночка, я теперь гораздо легче переношу твой отъезд и разлуку, чем первый, в сентябре. Происходит это не от того, что я меньше люблю тебя, но от того, во-первых, что я стараюсь заглушать всякое воспоминание о тебе, с каковою целью читаю самые залихватские романы. А прошлый раз я, не будучи в состоянии читать серьезное и в то же время не желая расслаблять свой ум легким чтением, по целым вечерам расхаживал из угла в угол и думал, что как это хорошо было с тобой и как скверно без тебя…

Второй причиной служит то, что тогда, в сентябре, действительно было хорошо, тогда как в последний твой приезд нельзя сказать, чтобы мы с тобой испытывали полное, безоблачное счастье: нет, были и облака и дождичек и в общем погода стояла сырая и пасмурная. Почему это так — ей-богу, не знаю. Должно быть, мы уже стали надоедать друг другу и уж слишком хорошо друг друга знаем, так что радуемся всякой неприятности, как теме для разговора. Итак, Зинурочка, я эту неделю почти не скучал, хотя изредка бывало очень тяжело, но это слишком обыкновенное явление для того, чтобы над ним останавливаться. Занимался математикой, впрочем, довольно умеренно; успехи, хоть и незначительные, но есть: в субботу был письменный ответ, и я в первый раз решил задачу, с маленькой ошибкой, впрочем. За первый письменный ответ, который был в ту субботу, получил кол, вместе с Никитским. Вообще пока я веду себя удивительно хорошо: не пью, не хожу к Дмитриевым и не ревную тебя к Мих<аилу> Ивановичу, хотя и стоило бы: вспомни, как ты обрадовалась, когда я попросил тебя поцеловаться с ним при прощанье. Одним словом, я пока еще живу хорошо; жаль только, что время идет черепашьим шагом, так как Радулович[1] еще не приезжал, а один урок берет очень мало времени; мне хотелось бы, чтобы скорей пролетели эти три месяца, которые отделяют меня от цветущего мая, поры цветов и любви, когда, по пословице, «щепка на щепку лезет». Ну, а теперь о тебе, Зиночка. Напиши мне, как доехала и как провела время в Москве. Я боюсь, что ты там изменяла мне с М<ихаилом> И<вановичем>, если не делом и словом, то уж мыслью наверное. Я и сон в этом роде видел. Расскажи, как встретил тебя Петербург и как твои благие намерения — все еще намерения? Кланяйся от меня Хлобощину.

Теперь, когда ты уехала, Петербург опять начинает представляться мне ужаснейшей гадостью, так что когда в гимназ<ии> спрашивают, в какой университет я думаю, я отвечаю, что в Москву. Впрочем, поживем — увидим. У меня сейчас горе — нужно писать сочинение Наталье — а у меня в голове такая же приятная пустота, как и в кармане.

Прости, что мало пишу, но материалу ни в душе, ни в окружающем нет, а переливать из пустого в порожнее, да еще письменно, выйдет хуже и скучнее классного сочинения. То есть материалу хватит, да уж больно залежался этот материал, ничего порядочного из него соорудить нельзя. Целую тебя 2 тысячи раз. Если слишком много, то отложи часть на черный день.

Твой Л. Андреев.

Две просьбы: 1) часы посылай на имя матери и 2) не пиши поперек письма, как ты это обык<новенно> делаешь.

Мать кланяется.

---

[1] Ученик Андреева, вероятно, сын одного из братьев Радуловичей (Владимира Ивановича или Аркадия Ивановича), известных орловских врачей и общественных деятелей (первый был гласным земского собрания); см.: [1, с. 64].

16

28 января 1891. Орел

28 января 91.

Спасибо тебе, Зиночка, что выводишь ты меня из апатии, которая начинает овладевать мною. Получил я вчера твое письмо, прочел — и чуть с сердцов не разорвал его, неповинное, вместе с каким-то клочком волос, вложенным в него. Сейчас я уж несколько успокоился и могу хладнокровно высказать тебе все то, чем ты было меня разозлила и вершиной чего является это самое письмо.

Ты пишешь, что тебе так много дела <sic!>, что даже некогда писать мне. Бедненькая Зиночка! Ты даже забыла, какую когда-то цену придавала ты подобным отговоркам с моей стороны. Объясни ты мне теперь одну вещь, которой я никак не могу понять: ты ужасно торопилась уехать из Орла, потому что тебя ожидали в Петер<бурге> лекции, и когда я спрашивал, долго ли ты намерена оставаться в Москве, ты весьма неопределенно отвечала, что может день, а может и два… В то же время ты говоришь своим, что будешь дожидать в Москве *М<ихаила> И<вановича>*, для чего — не ведаю и мужественно выполнила свое *благое* намерение, целую *неделю проскучав* без меня в Москве, и даже забыв о лекциях, которые теперь не оставляют даже свободного *полчаса*, чтобы написать мне. И когда, наконец, нашлись эти полчаса, ты написала поистине замечательное в своем роде письмо. Желая облегчить мои предполагаемые муки ревности, ты в нем с забавною точностью рассказываешь, где бывала и с кем, и наверно думаешь, что я и на самом деле придаю цену всем этим россказням. К сожалению, Зиночка, мой скептицизм теперь распространяется на все и на тебя, деточка, в особенности.

Не думай, что все это является результатом ревности — о нет! Это только старание открыть истину и желание показать тебе, как я отношусь к подобной истине. Я тебя не ревную: ты можешь, если это доставит тебе удовольствие, вешаться на шею к М<ихаилу> И<вановичу> — я сочту только своим долгом предоставить полную свободу для этих проявлений твоего чувства, ибо я прекрасно знаю, что сердцу любить не прикажешь; сознаю и то, что за мной нет

ничего такого, чем бы я мог удержать твою любовь, а даже напротив… И уж поверь, что не стану я на коленях вымаливать любви, которой не сумел удержать иным, более благородным образом. Если же теперь я невольно пишу тебе такое резкое письмо, то ведь во мне говорит не ревность, а голос оскорбленного в своих законных правах самолюбия. Ты можешь делать, что хочешь — только не обманывать меня и не лицемерить предо мной. Ты можешь сказать мне, что в Москву ты хочешь ехать просто для перемены места или *чего бы там ни было*, но не уверять, что спешишь в Петербург для занятий. Ты можешь откровенно объяснить, что тебе не хотелось, или нечего писать мне, но не пускать в ход глупую и избитую отговорку: «нет времени». Ты имеешь право, если это тебе желательно, поиграть с М<ихаилом> И<вановичем>, но не должна лгать мне, уверяя, что тебя оный М<ихаил> И<ванович> нисколько не интересует, а что мне это только кажется. Я не желаю играть роль добродетельного супруга, которого водят за нос и который только тогда замечает свои рога, когда ему покажут. Мне тяжело было бы, — сравнительно, — знать, что меня разлюбили, но я готов разбить свою голову о стенку при мысли, что меня и разлюбили и *провели*. Ты можешь сейчас спросить меня, как я сам поступал когда-то? — но ведь мы умнеем с опытом, а тогда я действительно, дурак, думал, что тебе лучше будет, если я буду обманывать тебя. Теперь же дело иное и ты дальше сама увидишь это; но говорю тебе, что если я хоть раз услышу фальшь в твоих словах, ты можешь считать себя вполне свободною от всяких обязательств, так же как и я. Dixi.

С письмом, которое я написал тебе, кончилась и моя удача и хорошее поведение. Во вторник утром я неповинно получил кол по истории, а вечером приехал Ткачевский, с которым мы начали пить, сперва понемногу, а в пятницу напились до того, что отправились *туда*, где пробыли до 11 часов утра следующего дня. В этот день были именины у Стаценок и мы, в 1 час дня отправившись туда, вновь напились. В 1/2 восьмого я отправился, совершенно пьяный, к Дмитриевым, и, к своему удовольствию, не застал их дома и пошел к Пановым, где оказались тоже именины и где я еще напился. В результате получилось то, что я на другой день, т. е. вчера, едва стоял на ногах, и вот сейчас нервы расстроены до невозможности, хотя я, собираясь писать тебе, выпил валерьяновых капель. А вчера приключился какой-то, по всему вероятию, нервный припадок, от которого я рассчитывал было подохнуть. Все время я совершенно хладнокровен и бесстрастен. Хладнокровно и бесстрастно пью и безобразничаю, хотя мне и не хочется ни пить, ни безобразничать.

Хладнокровно получаю единицу, хотя тоже не желал бы этого. Только две вещи возмутили мое бесстрастие: твое письмо и вообще ты, а потом отъезд Варвары, так как она последний человек в Орле, которого я люблю. А собственно я и сам не знаю, почему мне жаль ее: ведь она также смотрит на меня глазами Сибилевых. Прощай. Если не будет времени, можешь не торопиться с ответом. Целую тебя, но не прощаю. Что касается меня, то я в прощении не нуждаюсь. Еще раз целую тебя и твою руку, еще не опоганенную, надеюсь, М<ихаилом> И<вановичем>, как опоганен сейчас твой

Твой Леонид.

Кланяется мать и тетка.

17

5 февраля 1891. Орел

5 февраля 91.

Ты, Зиночка, спрашиваешь меня, в чем заключается твоя вина, вызвавшая с моей стороны такое, как ты говоришь, оскорбительное письмо. Видишь, голубчик: сопоставляя твои слова с твоими поступками, я нашел между ними противоречие и заключил, что иногда твои слова не соответствуют твоим мыслям и желаниям, другими словами, что сознательно или бессознательно ты обманываешь меня. И письмо мое единственною целью имело — не оскорбить тебя, но выяснить недоразумение, если оно есть, или обнаружить ложь, если таковая имеется, и во всяком случае, показать тебе, как я отношусь к обману. Если же ты говоришь, что не обманывала меня (и если даже нужно отнести в область химер студента, в присутствии коего ты раскисала), то я верю тебе, не видя мотива для обмана. И я очень рад, что все, что я думал, неправда, потому что мне очень не хочется порывать с тобой, что неминуемо должно последовать в случае обмана с твоей стороны. Что касается твоих слов: «я пишу не для оправдания, а из любви к тебе», так ведь это, голубушка, ничего не значащая и бессмысленная фраза, ибо всегда мне кажется, нужно оправдываться, когда тебя обвиняют, да еще несправедливо. Не имей я *никаких прав* для обвинения, для чего нам было бы совсем не знать и не любить друг друга, тогда статья иная: ты вместо всяческих оправданий могла бы наплевать мне в харю, — но теперь ты должна оправдываться, как вот сейчас буду оправдываться я от напраслин, возведенных тобою на меня. Ты с уверенностью говоришь, что я тебе изменю или уже изменил, и прегорько, конечно, ошибаешься, ибо, во-первых, я дал тебе честное слово до Святой ни–ни…, а во-2-х, я в данную минуту жажду лишь одного — спокойствия, с которым

измена и любовь, как известно, непримиримые враги. Телом-то, пожалуй, я тебе и изменил, *там*, но душою все так же люблю тебя (и одну тебя, что со мной редко бывает). Я даже, Зиночка моя хорошая, ни с кем не поцеловался, — раз только, впрочем, с Варварой, когда провожал ее, — и не хочу целоваться, и не буду целоваться. А ты, чудачка, уверивши себя, что я тебе изменю, сейчас же утешаешь себя угрозой, что и сама мне в таком случае изменишь. Ах, Зинурочка, Зинурочка, разве можно серьезно говорить такие вещи. Ведь это все равно, как если бы ты, желая доставить мне неприятность, побила самое себя. Не забывай, деточка, что мы с тобой природой и жизнью поставлены в совершенно различные условия. Если изменяет мужчина, то он ровно ничего не теряет (не говорю о нравственности); даже его фонды поднимаются в глазах других и он на 50% выше ценится, тогда как женщина теряет и репутацию и свою цену, становясь вещью легко или даже общедоступною. Ведь ты знаешь, что всякий мужчина слегка презирает отдавшуюся ему женщину, хотя бы он и любил ее и хотя бы она также по любви отдалась ему. Это мерзко, скверно — но с этим ничего не поделаешь: так уж свет устроен. И если ты, Зиночка, станешь изменять, так ведь тебе же, голубчик, хуже будет. Мне, конечно, сперва скверно будет, но ведь все горести преходящи и я, рано или поздно, утешусь, — тогда как ты, раз упавши, уже не встанешь. Итак, Зинурочка, не забывай, что хотя измена и оружие, но оружие обоюдоострое, и что всякая палка о двух концах.

Итак, в заключение: я тебя люблю, Зиночка моя милая, верю тебе и от тебя желаю того же.

Мне, Зинурочка, последнее время живется скверно. Стал каким-то бесчувственным, ничем не интересуюсь; голова и сердце не работают, работают одни ноги, таскающие меня на урок и в гимназию, да язык, который и там и здесь треплется. Позавчера в 5 часов утра проводил Варвару. Было очень грустно и жалко, как будто отрывалось последнее, что *действительно* связывает меня с домом Сибилевых. — Мои дела по гимназии несколько поправились: по истории совсем нечаянно 3 получил, а по-русски мое сочинение оказалось лучшим в классе — мне одному только 5. Директор[1] долго и ругал и хвалил его и говорил, что <для> разбора его нужен особый урок. Главнейшие недостатки сочинения те, что 1) оно слишком оригинально и выдается из ряда классных работ, а 2) в некоторых местах слишком пахнет фельетоном. «Ты, Андреев («ты» он говорит мне в знак своего расположения) мог бы его поместить в “Орловском вестнике” и тебе даже деньги за него заплатили бы, но я думаю,

что для этого “Орловский вестник” слишком низок, а твое сочиненье слишком высоко». Вообще говорил очень много. Это очень хорошо для меня, ибо директор говорил, что сочинениям теперь придается большее значение при получении аттестата. — Прости, деточка, что мало написал, но, ей-богу, не пишется, да и поздно. На днях еще напишу, а пока тысячу раз целую тебя и страшно жалею, что нет тебя сейчас со мной. Я даже желал бы, чтобы ты сейчас лежала на печке и ныла о том, что есть хочется, хотя у нас ужинать совсем нечего. Прощай, моя дорогая, дорогая Зиночка!

Твой Леонид.

У Дмитр<иевых> не был. Присылай часы. Мать кланяется.

---

[1] Иван Михайлович Белоруссов (1850–1920), учитель-словесник, автор ряда учебников, в том числе популярной «Теории словесности». С октября 1882 г. директор Орловской мужской гимназии, преподавал в последнем, восьмом классе русский и греческий языки.

18

13–15 февраля 1891. Орел

13 февраля.

Что ж ты, Зиночка, так долго не отвечаешь и заставляешь меня беспокоиться? Я могу придумать только два объяснения: или ты не получила моего письма от 5, кажется, февраля, или же получила, но за что-то сердишься и не хочешь отвечать. И то и другое одинаково прискорбно. Неприятно, если пропало письмо, потому что с ним, во-первых, пропало много хороших и дельных мыслей, а, во-вторых, потому что ты вследствие этого должна были провести несколько неприятных минут. Прискорбно, если ты получила письмо, но за что-то сердишься и не пишешь потому, что на меня сердиться совершенно не за что, в особенности теперь, когда я так хорошо веду себя: не пью, не ухаживаю и читаю умные книжки, следовательно, забочусь о своем здоровье физическом, нравственном и умственном. Есть у меня еще третье предположение касательно причины твоего молчания: это то, что ты, быть может, заболела, так как, по слухам, твой поганый Петербург в настоящее время представляет сплошную больницу. Взаправду, у меня все время вертится и не дает покоя мысль, что о твоей болезни, и вот за то, что ты не хочешь вывести меня из опасения, я даже сержусь на тебя, хорошая моя Зинурочка. Я сам, голубочка моя милая, вот уже второй день чувствую себя вельми скверно: голова проклятая не переставая болит. Душевное мое состояние в общем довольно хорошо. Мое пессимистическое миросозерцание начинает мало-помалу уступать место другому,

более светлому и жизнерадостному. Хотя в теории я и до сих пор еще придерживаюсь того мнения, что величайшим актом мудрости является самоубийство, но уж не так стремлюсь к нему и целью своей жизни поставил нечто другое: свободу, отчасти внешнюю, а преимущественно внутреннюю, ту свободу духа, которая дается изучением самого духа. И я с усердием читаю все, касающееся человека со всеми недостатками его психической и физ<ической> организации. Боюсь только, что ненадолго хватит этого усердия. Ну да все-таки чтение без пользы не останется. К свободе внешней я, признаться, стремлюсь довольно слабовато и учусь не так, как бы следовало. Вот мои баллы с Рождества по днесь:

Русский — 5. 3. 5
Латинский — 3. 4. 3
Греческий — 3. 3. 3
Математика — 1
Физика — 3
История — 3. 1. 3
Немецкий — 3

По математике кол я при тебе еще получил за письменный ответ, а с тех пор не вызывал, и боюсь, что раскается, если и вызовет, ибо я совсем мало занимаюсь по этой проклятой математике, от которой не знаю, когда избавлюсь. И в будущем моем аттестате для меня всего дороже то, что он будет служить для меня разрешением совершенно забыть о существовании этой математики, чтоб ей ко всем чертям провалиться! Поверишь ли, меня даже беднота наша, принявшая за последнее время довольно солидные размеры, не так терзает, как эта дьявольщина; и теперь для меня на свете есть только три вещи, о которых я ни вспомнить, ни говорить не могу хладнокровно: это — Мих<аил> Ив<анович>, Ив<ан> Ив<анович> и математика.

Общественная моя жизнь проходит довольно скромно. Никуда из дому не хожу, только вот Варвару провожал, о чем я уже тебе говорил. Бывает у меня Наталья, но можешь быть вполне спокойна: теперь, менее чем когда-либо, способен променять тебя, мою дорогую, хорошую ненаглядную Зинурочку на нее, … ну, да можно обойдетесь <sic> и без эпитетов (Да кстати: все домашние сердятся на тебя за твое долгое молчание; помни, самое главное, что и я сержусь). У Дмит<риевых> с Рождества не был. Сегодня был у меня Арханг<ельский>, и боюсь, что визит его был с разрешения Любочки и имел целью напомнить о ее существовании. Впрочем, может, я и ошибаюсь, но во всяком случае можешь быть и здесь спокойна:

не только не чувствую никакого позыва к ухаживанию за ней, но, наоборот, ужасно удивляюсь, что как это я мог когда-то чувствовать к ней симпатию, выражаясь по-столичному. Ну, теперь моя жизнь разобрана со всех сторон, и поговорим лучше о тебе.

Прежде всего напиши, кратко и ясно, как идет твое учение, кончила ли ты свою бухгалтерию и не имеется ли в виду места. Затем, как ты поживаешь вообще в отношении умственном, нравственном, физическом, общественном и *чувственном* (не совсем удобное выражение, но ты понимаешь, что я говорю о чувствах). Принадлежит ли еще мне твое сердечко или уже отдано какому-нибудь неотразимому в своих прелестях студенту, на манер Радина или того, московского, в присутствии которого ты кисла? Сообщи, как здоровье Релиско, Бодиско или как там его. Надеюсь, что он выздоровел. Пишет тебе Варвара или нет? Я сегодня послал ей письмо с самым формальным объяснением в любви. Мне очень желательно было бы, хоть письменно, подружиться с ней. В заключение две просьбы: не пиши ты так убийственно безграмотно и не делай ты таких изысканных ошибок, при виде которых у меня, репетитора и писателя по профессии, становятся волосы дыбом и захватывает дыхание. Ведь это даже на моем здоровье отражается. Вторая просьба — пиши, пиши и пиши, и если даже не можешь, то хоть со своими ужасными ошибками, но пиши. Целую тебя тысячу тысяч раз, родная, дорогая моя, хорошая Зинурочка! —

Твой Лео.

P.S. Мать по обыкновению кланяется, а я, по обыкновению: часы, часы!

19

15 февраля 1891. Орел

15 февраля.

Сейчас только получил твое письмо, и хотя несколько устал после гимназии, но спешу ответить. Все подробности моей жизни, интересующие тебя, ты найдешь в ранее написанном клочке, а здесь я только отвечу на некоторые твои вопросы. Бумаги почтовой (для рисования можно какой угодно цветной, только не гладкой, не блестящей) можешь прислать тоже какой угодно; лучше будет, если возьмешь с венз<елем>, но без линеек. С часами можешь не торопиться. Ты, Зинурочка, прости за откровенность — свинья. Ну разве можно говорить, что то мое письмо до того любяще<е>, что кажется даже неискренним! Ведь таким манером выходит, что я только тогда искренен, когда ругаюсь с тобой, другими словами, совсем не лю-

блю тебя. Не вернее ли будет наоборот сказать: что я тогда только не совсем искренен, когда ругаюсь?

Ну да все это чепуха. Знай только, что я тебя люблю, как сорок тысяч братьев[1], и даже больше чуточку. Странные несколько, Зинурочка, все твои письма: прямо кажется, что их писал человек больной и физически и душевно. И в этом я вижу не одно только влияние твоих усиленных занятий, с сопряженной с ними усталостью, но также влияние твоего отвратительного Петербурга. Ты говоришь: все серо вокруг — да чего иного можешь ты ожидать от этой северной Пальмиры, где солнце светит раз в год и где ночи светлее дня, где можно жить, только будучи земноводным, потому что иначе ни одно живое существо не вынесет тамошних туманов и слякотей. А твои петербургские знакомые — тоже хороши, нечего сказать: прервать почти знакомство из-за того только, что с ними водку пить не стала! И пусть я прежде трижды лопну, чем стану жить в этом болоте с этими миазмами, твоими знакомыми. И в Орле, Зиночка, тоже гадко: погода стоит плохая — и на душе скверно, одно только спасение — спать. К счастью, это теперь для меня возможно. Радулович еще не приезжал и хотя финансы наши терпят от этого, но в душе я желаю, чтоб он век не возвращался, ибо вся моя жизнерадостность юная, которой я тебе похвалялся, разом исчезнет тогда. Прощай, моя деточка ненаглядная; не предавайся ты этой скуке и помни, что есть в Орле Линочка, который и жалеет тебя и сочувствует тебе и ждет не дождется, когда придется ему поцеловать твои глазки милые. Целую сильно и крепко, Зинурочка!

Твой Л. Андреев.

---

[1] Ср. слова Гамлета, обращенные к Лаэрту на могиле Офелии:

Я любил
Офелию — и сорок тысяч братьев
Со всею полнотой любви не могут
Ее любить так горячо...
(У. Шекспир. «Гамлет», акт V, сцена 2; пер. А. Кронеберга (1844)).

20

24 февраля 1891. Орел

24 февраля.

Опишу тебе, Зинурочка, все по порядку. Папа[1] заболел недели две тому назад. Сперва болезнь его не представляла ничего опасного, он ездил в суд и занимался делами, но в четверг на той неделе оказалось, что у него начинается водяная: у него очень опухли ноги,

так что он с трудом ходил, а под конец ходил с чужой помощью; с трудом дышал, начал заговариваться и слегка бредить, так что иногда не узнавал своих. Несмотря на все это, он все почти время шутил, смеялся над своей болезнью и говорил, что нисколько не боится смерти, но вполне готов к ней. В субботу он даже ездил в Собрание, так как жаловался, что дома ему скучно, но был там недолго. У него очень часто бывала Т.И. Губер[2], с которой ему было веселей. В воскресенье, кажется, она предложила ему причаститься, но он отказался. Вот его почти буквальный ответ: «Вы верите в своего бородатого Бога, а она (Т.Ив.) в своего бритого, а я этих богов не признаю, а есть у меня свой Бог, которому я и верю». С понедельника ему стало хуже: не узнавал доктора, ежеминутно, даже сидя за столом, засыпал и никого не отпускал от себя, говоря, что одному скучно. Дышать почти не мог и доктор (Красин) велел ему вдыхать, отчего ему становилось <хуже?>. Впоследствии оказалось, что у него уже начиналась агония, но Красин ничего об этом не сказал, не желая пугать домашних. Во вторник весь день было то же. Вечером, перед тем как лечь спать, он был в столовой, говорил с своими, но очень бессвязно и заговаривался. В 9 часов его повели спать (он спал уже отдельно от Т.И.), в 3 часа ночи Т.И. услышала хрипенье и, бросившись к постели, увидела, что он уже мертв. (Да, забыл сказать: в бреду он очень часто повторял твое имя). Нат<алья> поехала за Еленой Адольф<овной>; его как следует одели и положили на стол, но он был как живой, так что утром посылали даже за доктором, чтобы удостовериться в его смерти. Утром же съездили за Зайцевыми и началась обычная хлопотня. Все хлопоты взял на себя Жур, заказывал гроб и т. д. и вообще все время не оставлял сестер. Из них Наталья довольно спокойно и твердо приняла смерть папы, но Надежда с Теоф<илией> очень убивались. С Надеждой несколько раз была истерика, а Теоф<илию> раз насилу оторвали от гроба. К вечеру я пришел к вам, ночевал, так как одни они боялись, хотя собственно у них были Жур и Борис[3], приехавший на телеграмму. Борис был довольно тверд, хотя и плакал. Ужасно убивалась няня и все время, вместе со мной, жалела Зиночку и Варю. На другое утро были похороны. Описать тебе подробно все это утро невозможно, потому что и сам я был как шальной. С Надеждой все делались истерики, с Теофилией тоже, а когда стали выносить тело, то обе попадали в обморок. В церкви все время приходилось нам с Журом выносить на паперть то одну, то другую. В церкви было очень много народу: кроме Зайцевых, все знакомые, даже Вериго, пропасть адвокатов, которые положили на гроб прекрасный металлический

венок с надписью: «от товарищей». Другой венок, из живых цветов, положила Губер. До кладбища (Троицкого) Наталья шла со мной за гробом, а Надежда с Журом, которого она не отпускала от себя, но потом не могла идти и поехала на извозчике. Теофил<ия> ехала почти от самой церкви. Погода была очень скверная: снег по колено, ветер ужасный. На кладбище, когда опускали гроб, опять плач и рыдания. После похорон был обед, которым занималась мать (она все время была у вас и Шинявская, но на обед поехали не все: из Зайцевых были Андрей и Жур, был Турчанинов, Пацковские, Пановы. С кладбища приехали в 2, а обед кончился около 7 часов. Вообще похороны были очень хороши и Зайцевы не скупились. После обеда я пошел домой, а вечером опять пришел к вам и ночевал, так что в гимназию пошел прямо от вас. Ночевал, кроме того, Жур, Катер<ина> Ивановна и няня. Теоф<илия> Ив<ановна> тотчас же после обеда уехала домой. Все дела Ник<олая> Евграфовича были разобраны следователем Чеботарем. Благодаря ему и Попову описали очень немного вещей, а большая часть осталась вам.

В пятницу сестры и Борис переехали к Зайцевым, но ночевали сестры в пятницу у Волковых, а вчера Надежда у Елены Адольф<овны>, а Наталья у нас. Сегодня они совсем переходят к Зайцевым. Тетка уже высказала им свое требование, чтоб они ни к кому, кроме Ел<ены> Ад<ольфовны>, не ходили и никого у себя не принимали. В настоящее время Нат<алья> хлопочет у Хлуденева о месте для Варвары, которую хотят призвать сюда. До приезда же в Орел ей ничего не хотели писать о смерти папы, так что твое письмо явится к ней совершенной новостью. Бедная она! Ей и так там ужасно скверно, а тут еще эта смерть. Я буду завтра писать ей, а ты во всяком случае зови ее оттуда, если хоть не в Орел, так в Петербург. — Теперь отвечу на некоторые вопросы. Тебя не известили телеграммой тотчас же потому, что боялись слишком поразить тебя. О болезни же Наталья просила меня написать тебе, но так как когда она говорила мне это, он был не опасно болен, то я хотел подождать и, если болезнь примет опасный оборот, то призвать тебя. Но когда я в среду не получил твоего письма, послал к вам спросить о его здоровье, мне принесли поразивший меня ответ, что он уже умер. И хорошо, Зинурочка, вышло, что ты не приехала, потому что делу уже не помогла бы, а только пуще расстроилась. Ты думаешь, что тебе легче было бы, если бы ты своими глазами видела его мертвым — нет, моя деточка, еще хуже было бы. Теперь ты избавлена была от этих мелочей, которые так ужасно действуют на нервы, от панихид, выноса и проч.; теперь не будет стоять у тебя перед глазами эта картина смерти и разложе-

ния. Когда ты захочешь вспомнить о папе, ты вспомнишь его таким, каким видела в последний раз: бодрым, красивым, а я не могу теперь иначе вспомнить его, как в гробу, разложившегося. И будет он, хоть бы только в голове у тебя, вечно живым и красивым и будет тебе казаться, что он как будто уехал куда-нибудь, а не умер и что ты увидишься с ним. Да, Зинурочка, и это будет и увидишься когда-нибудь с ним. Ты не виновата в том, что тебя не известили и что ты не отдала ему последнего долга, и тебе нечего упрекать себя. И нечего, голубка моя, не нужно мучиться и забывать, что таков уж удел наш, что всегда родители раньше детей умирать должны. Возьми, Зиночка, всех вокруг себя: у кого из них не было отца и у кого он остался? И у меня умер отец, и сами мы с тобой когда-нибудь помрем, и дети наши оплачут нас, но никогда не следует из-за смерти забывать свою жизнь. А в жизни еще дела много, и сейчас оно уже призывает тебя и заставляет подумать о дальнейшей судьбе всех вас. Ты скажешь, деточка моя дорогая, что сама все это знаешь, но что тебе жалко его, жалко, что тебе плакать хочется, когда вспомнишь, что он, когда-то такой и веселый и хороший, так любивший тебя, теперь лежит в могиле. Да как же, голубочка, не жаль, я и сам, как пришел с похорон и, оставшись один, как вспомнил его, так и то, голубочка, ревел до тех пор, пока подушка стала мокрая — но ведь нужно же сдержать себя и вспомнить, что ведь смерть его не такое уж несчастье для него. Ведь все хорошее у него оставалось позади, а впереди его ожидал только труд, да болезненная старость. И старайся, моя детка, не плакать, не терзаться, старайся думать о том, что я еще у тебя остался, что никогда я тебя не покину, моя радость. Подумай о жизни, которая ожидает нас с тобой, как хорошо будет, когда мы трое: ты, Вар<вара> и я будем жить вместе в Петербурге. Ведь со смертью папы твоя жизнь не разбита, ведь когда-нибудь, рано или поздно, должна была произойти эта смерть и даже лучше рано, чем поздно, потому что настоящая жизнь им была уже прожита, а впереди оставалось только сожаление о ней. Прощай, моя детка, крепко целую тебя и жалею только, что не могу своими поцелуями осушить твоих глазок.

Твой Л. Андреев.

Скоро еще буду писать. Все кланяются.

---

[1] Николай Евграфович Сибилев, частный поверенный. Проживал в Орле с семьей по адресу: Болховская улица, дом Зайончковского.

[2] Близкий друг Н.Е. Сибилева (судя по всему, к тому времени вдовца).

[3] Брат З.Н. Сибилевой.

21

1–2 марта 1891. Орел

1 марта 91.

Ты сильно огорчена смертью отца, — это вполне естественно, но ты не должна забывать, что и другим может быть скверно и что не одной тебе дана привилегия на нервное расстройство. В эгоизме своего горя ты спокойно пишешь мне оскорбительные вещи, укоряешь меня в том, что я тебя не известил о болезни Н<иколая> Е<графовича>, делаешь вольные предположения о моей будущей измене, сравнивая при этом меня с М<ихаилом> И<вановичем>, что одно, как *ты прекрасно знаешь*, способно довести меня до бешенства. Ты ни капельки не подумала о том, что я также живой человек, что и на меня подействовало все это, и смерть его и ваше общее несчастье, так что я теперь положительно выбит из колеи. Не подумала ты и о том, что если тебя не известили, так это не я виноват. Мне не хочется только быть виновником семейных дрязг, а то я мог бы написать многое. Я понимаю, что теперь не время для личных счетов, но твоя несправедливость возмутительна.

Твоей просьбы — описать в подробностях все, касающееся последних минут Н<иколая> Е<графовича>, к сожалению, исполнить не в состоянии, потому что совсем не вижу сестер, так как тетка не пускает их ко мне, а Т<еофилия> И<вановна> в самый день похорон переехала к себе домой. Наталья уже, *по слухам*, поссорилась с теткой и хочет жить в пансионе. Что касается Варвары, то напиши ей, пожалуйста, все о смерти Н<иколая> Е<графовича>, так как отсюда ей еще ничего не писали. Я опять-таки здесь не виноват, так как хотел было написать ей, но сестры сказали, что возьмут это на себя. Я сегодня или завтра напишу ей, хотя боюсь, что письмо уже не застанет ее там.

Что так скоро вышли у тебя все деньги? Ведь этак твоего капиталу и на полгода не хватит. Напиши мне, Зинурочка, что ты теперь там *делаешь* (в смысле учения), а то у меня существует довольно слабое представление о твоих занятиях: знаю, что учишься, а чему и как — не знаю. О себе писать совсем нечего. У нас все это время финансовый кризис, который разрешится только продажею дома. Денег до того мало, что уж не говоря о прочем, нельзя бывает иной раз достать денег на марку, и вообще моя корреспонденция доставляет поэтому много хлопот. К счастью, вчера играл в стукалку и выиграл три с лишком целковых, так что на некоторое время обеспечен марками. Второе счастливое для меня событие состоит в том, что

мне удалось, не готовившись, поправиться по математике, так что допущение меня к экзаменам вне всякого сомнения.

После смерти Н<иколая> Е<връафовича> я не в состоянии ни одного вечера просидеть дома: такая тоска является, что не знаешь, что с собой делать. Чтение серьезное, которым я было как следует занялся, теперь остановилось вследствие полнейшей неспособности понять читаемое. Каждый вечер куда-нибудь хожу. Был раз у Дмитриевых, Пацковских, Пановых, сегодня хочу прострунуть на галерку в театр, малороссов посмотреть. Был несколько раз пьян, и в общем чувствую себя до невозможности отвратительно. Прости, деточка, что посылаю такое коротенькое и бессодержательное письмо; дело в том, что голова и все вообще мыслительные способности в данную минуту находятся в самом плачевном состоянии. Подробности о смерти отца постарайся узнать от сестер, они тебе напишут. Целую тебя.

Твой Л. Андреев.

М<ихаил> И<ванович> в Орле. Ты переписываешься с ним?

2 марта.

Виделся вчера с Натальей; особенных новостей нет: относительно папы говорит, что он почти весь день перед смертью провел в беспамятстве и ничего не говорил, кроме просьб напиться и т. п. Место уже выхлопотано, какое — неизвестно еще пока. Наталья старается Варвару перетянуть в Орел и противится тому, чтобы она ехала к тебе. Сама же она действительно поссорилась с теткой и дядей или, вернее, подверглась ссоре с их стороны и завтра переходит в интернат. Надежда еще в четверг уехала с Теофилией к Анне Ивановне; приедут завтра. Адреса Теофилии Наталья не знает. Борис в настоящее время освобожден от платы, а в будущем году его постараются определить на дворянский счет. Хотя Варваре почти отыскано место, но все-таки, Зиночка, старайся привлечь ее в Петербург, а то здесь ее ожидает одно горе среди Зайцевых и tutti quanti. Я сам пишу ей в этом духе. Ты ей вполне ясно написала, что папа умер, а то она во вторник, кажется, прислала следующего содержания телеграмму: «что с папой?». По обыкновению, послана к Корбе телеграмма, имеющая целью подготовить Варвару и т. д. Во вторник же Нат<алья> послала ей письмо с подробным описанием смерти отца. Хорошо ли ты знаешь адрес Варвары? Настоящий вот какой: Голта, Херсонской губернии, е<го> В<ысоко>б<лагородию> Антону Вас<ильевичу> Корбе[1], для В.Н.С.

Прости меня, Зинурочка, если я в этом письме слишком уж горячо отнесся к тебе и если кое-что может показаться оскорбительным:

мне, деточка, так скверно, как давно уже не бывало. Извини и за то, что замедлил с письмами: я выжидал для тебя чего-нибудь поновей. Прощай, моя деточка, целую тебя много раз и желаю тебе всего хорошего, насколько оно сейчас доступно. Напрасно ты не пошла в концерт: ты им могла бы рассеяться несколько. Нат<алья> просила передать, что траур был сделан в тот же день, как умер папа.

[1] А.В. Корбе (1833–1904), предводитель дворянства Херсонской губернии, врач по профессии, деятель народного образования.

22

2 апреля 1891. Орел

2 апреля.

Между нами, Зиночка, произошло очень крупное недоразумение, от которого мы оба одинаково пострадали. В ту самую минуту, как я получил твое письмо, я снаряжал Пашку на почту, чтобы отправить к тебе письмо, в котором я просил у тебя отставки на том простом основании, что ты меня не любишь. И я действительно был убежден, что твоя любовь кончилась. Доказательством этого, как мне казалось, служило твое поведение с самого Рождества, твои короткие, по сравнению с моими, и сухие письма и т. д. Вспоминалась всякая мелочь и каждая их них говорила о прекращении твоей любви. Тут умер твой папа. Все эти мысли должны были, конечно, отступить на задний план, и я думал только о том, как будет тяжело моей Зиночке, одной, на чужой стороне, когда она узнает об этом. И когда я так мучился за тебя и готов был отдать все, только бы избавить тебя от печали, я, в благодарность, получил от тебя письмо, в котором ты страшно, страшно оскорбляешь меня, и именно тем, что в такую минуту сравниваешь меня с М<ихаилом> И<вановичем>. Я высказал тебе это в своем письме, но это письмо вовсе не показывает, как ты утверждаешь, чтобы я не любил тебя. Наоборот: именно то, что я оскорбляюсь на это сравнение, говорит о моей любви. Не люби я тебя, ты спокойно могла бы хоть с чертом рогатым сравнивать меня, и я не подумал бы обидеться. А ты этого не поняла. Ты думаешь, что только в ласкательных именах любовь высказывается. Эх, Зиночка, поверь, что ты сама любила меня больше, когда глаза мне выцарапать хотела, чем теперь, когда ты называешь меня «милым Линочкой».

И когда я послал это письмо и с нетерпением ожидал каждый день на него ответа, который убедил бы меня, что мои вновь возродившиеся подозрения неосновательны, — письма от тебя все

нет и нет. Ну скажи мне, голубчик, что я должен был передумать? Я страшно мучился, тем более, что твое молчание, за которым я видел разрыв, добивало меня уже лежачего. Как раз в это самое время на меня обрушилась целая куча неприятностей, от которых я был сам не свой и о которых речь будет впереди. И вместо того, чтобы найти в тебе убежище от всех этих мерзостей, я находил в тебе источник новых, еще более сильных, мучений. Ведь не мог же я допустить мысли, что ты оскорбилась на меня и ждешь от меня извинительного письма, руководствуясь примером примерного Мих<аила> Ивановича. Зиночка, ведь это смешно, и печально и недостойно тебя, моей умницы. Ну как ты не можешь уразуметь того, что я не М<ихаил> И<ванович> и сам по себе и потому, в каких оба отношениях к тебе мы находимся. Ведь это все равно, как если б я сравнил тебя с Любочкой Дмит<риевой> и сказал, что ты и она для меня одно и то же. И если ты меня действительно любишь, ты *должна* понять, почему не *имеешь права* сравнивать меня с М<ихаилом> И<вановичем>. А ты свое последнее письмо начинаешь как раз заявлением, что это сравнение оказалось справедливым и стараешься еще доказать, что мне нужно было поступить так, как поступил М<ихаил> И<ванович>, написавши сперва наставительное, а потом извинительное письмо, и не только не видишь всей глупости этих наставлений и извинений, но даже растрогиваешься и посылаешь ему «большое» письмо.

Ах, Зиночка, Зиночка — ведь если б я тебя не любил так сильно, я за одно б за это разорвал с тобой. Потом ты говоришь, что у нас не должно существовать глупой привычки считаться письмами. Да, и когда я был уверен, что ты меня любишь, я не думал ни о какой очереди, и на одно твое письмо отвечал двумя. Но когда я стал думать, что ты не любишь меня, я стал соблюдать очередь. Это вполне естественно. Естественно и то, что я, не получая от тебя письма и не видя к тому никаких причин, должен был подумать, что твоя любовь прекратилась. Я судил по себе: я не мог бы выдержать и недели, чтоб не поговорить с тобой, — это просто потребность, — а если ты можешь спокойно забывать о моем существовании на целые месяцы, то что это доказывает? Я и до сих пор не могу этого понять: неужели ты действительно любишь меня и вместе с тем можешь так долго молчать? Ведь это немыслимо. Я хоть в дневнике каждый день о тебе страницы исписывал, а ты? А еще говоришь, что «до безумия любишь»! Ну да довольно об этом, всего все равно не выскажешь, а тут и помимо этого есть много нового. Да и голова страшно болит, насилу сижу. Да вот еще что: ты прямо с полной уверенностью

говоришь, что я тебе изменил. Это полнейшая ерунда: с самого Рождества я ни минутки не думал о какой-нибудь другой женщине, кроме тебя, и ни капельки не изменил, хотя возможность к этому представлялась очень часто. У Д<митриевых> был с Рождества всего два раза, по обязанности. Никогда я не был тебе так верен, как это время. Положим, я несколько раз был «там», но ведь ты это не сочтешь же за измену? Итак, дорогая моя Зинурочка, я тебя очень и очень и очень и очень (в периоде) люблю и стараюсь думать, что и ты меня любишь.

Теперь мои дела. С масляницы мне не повезло. За ответы одни двойки. Даже по Закону[1] два. Попался в куренье (первый раз за 4 года) и отсидел 12 часов. Наконец, финал: 13-го прошлого месяца я, возвращаясь в 11 ч. домой в нетрезвом виде, нечаянно разбил стекло у наших врагов, Кутеповых. Несмотря на то, что предложил заплатить за стекло, был немедленно отведен в полицию, причем дорогой страшно ругал оного Кутепова. Началась возня страшная. Все, начиная с част<ного> пристава, уговаривали К. помириться, но он не захотел. На меня было подано прошение к мировому. За меня хлопотал и хлопочут: Квитлицкий, полицмейстер, Козлов (наш попечитель), *директор*, Померанцев, Коссов и т. д. Разбор дела был назначен на 21 марта, но его удалось отменить: будет разбираться 6-го апреля. Чем еще кончится — неизвестно. Minimum — 4 поведения в аттестате. Директор говорил со мной об этом и предлагал мне выйти из гимназии. Дело обозначено так: «о буйстве, оскорблениях и угрозах». К счастью, удалось скрыть, что я был пьян, иначе давно бы уже выперли. Таким образом, вот уже три недели ни минутки нет спокойной. Теперь я почти хладнокровен стал, равнодушен и к 4-ке и к тому, если выгонят, но раньше порядком помучился. В особенности измучили переходы от надежды к полному почти отчаянию. Теперь дела мои по гимназ<ии> поправились. По математике получил *4*. За третью четверть мне одному из всего класса *5* по-русски. Директор отзывается обо мне, как о самом умном и развитом в классе. Здоровье мое ужасно плохо. Теперь у меня опять два урока, так что опять расстроились нервы, опять хандра и пр. На прошлой неделе простудился, так что пришлось даже полежать, а теперь насилу ноги таскаю. Нездоровью помогает то, что я стал довольно много и сильно пить, только по праздникам, впрочем. Пью оттого, что скучно и гадко. В умственном отношении *совсем* швах: ничего не читаю и поглупел. Стали удивительно часто появляться припадки *бешенства*, подобные тому, какой был на Рождество, когда я с Ильиным поссорился. В общем, ужасно скверно. Не дождусь

того времени, когда буду жить с тобой вместе, а то пропаду ни за грош. Неужели ты правда не приедешь на Святую? Из сестер у меня бывает Нат<алья>. Надежды давно уже не вижу.

Чувствую, Зинурочка, что и половины не высказал того, что хотел. Но голова ужасно болит и притом забита: весь день на ногах, ни минутки отдыху. Вот сейчас почти 12 час., а мне еще доверенность Померанцеву на ведение моего дела писать нужно.

Я тебя, Зинурочка, люблю, оказывается, так, что и сам не ожидал этого. И если ты любишь меня, то я тебя прошу, если ты не можешь прекратить знакомство с М<ихаилом> И<вановичем>, то по крайней мере мне ни слова не упоминать о нем. Дорогая моя, ты не можешь представить, как мне хотелось бы сейчас быть с тобой, Зинурочка, моя деточка. Прощай. Неужели ты вправду не любишь меня?

Твой Л. Андреев.

Скажи, ты действительно *ничего* не утаила от меня из твоих отношений с И.И.? Для меня это очень важно.

---

[1] Имеется в виду Закон Божий — один из предметов в гимназии.

23

10 апреля 1891. Орел

10 апреля.

Прости, Зинурочка моя дорогая, что не сейчас же ответил тебе: времени, деточка моя, ужасно мало, так как два урока, да к тому же к вечеру всегда ужасно устаешь. Относительно твоего предложения, чтоб ехать мне в Петербург, я скажу вот что: поехать я могу не раньше пятницы на той неделе, стало быть в Петербурге придется пробыть не более 3-4 дней. Из-за этих 3 дней ты стратишь 28 р., каковая сумма в настоящее время для нас, живущих трудом рук своих, является весьма большой, а я принужден буду отказаться от своего плана: подготовиться на Святой, хоть немного, по математике к экзаменам. Так что мне ехать не годится. Что же касается тебя, то я думаю, что лучше уж окончить тебе свою бухгалтерию, а там, если успеешь, то приедешь в конце мая, когда как раз кончаются и мои экзамены. И будем мы тогда с тобой, Зинурочка, ничем и никем не стесняемые, пользоваться всеми благами совместного жития долго, долго (до скончания века и даже больше). А то ведь на самом деле — три дня! Это значит, что только что успел привыкнуть и как следует войти в свое положение — и изволь ехать домой! Если же ты опасаешься за мое душевное состояние, то в настоящее время оно не так дурно, так как с одной стороны я теперь *почти* успокоился насчет

твоей любви (хотя все еще не могу понять, отчего ты молчала), а с другой, дела мои теперь идут довольно сносно. Так, по математике Булыгин <?> вывел мне 4 (не из снисхождения, но потому что у меня было две четверки: одна за ответ, другая за класс<ную> работу), и ты уже теперь можешь называть меня абитуриентом, тем паче, что окончательный Совет о нас в пятницу, а совет этот дает нам право, как говорит Горшечников[1], спокойно получать колы в те две недели, которые мы будем учиться после Святой, так как баллы будут уже выведены. Затем мое дурацкое дело хотя еще не кончилось (так как оно опять отложено), но есть надежда на благоприятный исход. Наконец, погода, которая до сих пор была ужасно скверная, теперь изменилась: и тепло стало и солнышко явилось. Вместе с ним и на душе у меня просветлело, хотя минутами бывает ужасно тяжело и преимущественно от нашей проклятой благородной бедности. А чтоб тебе, Зинурочка, не было скучно, я надеюсь к Святой, вместо себя, прислать тебе дневник, из которого ты узнаешь все, что я это время чувствовал и мыслил, даже лучше, чем от меня самого узнала бы. К тому же я надеюсь, что твои знакомые, вновь приобретенные, не дадут тебе скучать. Признаюсь, что не имею особенного желания лично узнавать их, хотя они, может, люди и хорошие. Потом ты можешь быть вполне спокойна и уверена, что я не изменю тебе, ибо несмотря на свои старания еще не нашел, да и не найду, кто мог бы мне заменить тебя, моя легкомысленная Зинурочка. Надеюсь, что и ты в Петербурге не найдешь никого лучше меня — в противном случае напиши. Относительно тамошней молодежи, которая, как ты думаешь, должна оказать на меня хорошее влияние, я тебе скажу одно: — не по душе она мне. А впрочем, как они там, выпивают здорово? Если выпивают, то, конечно, люди хорошие. Если же твой Петербург наполнен экземплярами, подобными почтеннейшему М.И., говорящими прописные истины, имеющими наклонность к самосовершенствованию и в сознании своих достоинств задирающими нос выше Адмиралт<ейского> (?) шпиля — то я им не товарищ. Неужели, Зиночка, ты так-таки и не расстанешься с Петербургом? и в Москву ни за какие деньги не поедешь? Ну да поживем — увидим.

Получил недавно письмо от Варвары. Не красно ей там живется. И ты, главное, ее забыла, так что она и у меня спрашивает, что с тобой. И я принужден был ответить, что и сам не знаю. Ведь действительно, из первого твоего письма я понял только, что ты подозреваешь меня в измене, советуешь мне подражать М.И., и что ты, кажется, была чем-то больна. Видно также, что ты расстроена. Из второго ничего нового к этим сведениям не прибавилось. Что с тобой происходит,

что так сильно расстраивает тебя; отчего ты никому не писала; как и чем ты живешь — ничего не знаю.

Постарайся, деточка, перетянуть В<арвару> к себе, если, конечно, ей может найтись там работа, а то она заглохнет в своем захолустье. Нат<алья> и Над<ежда> поживают, кажется, ничего, сносно; впрочем, я их редко вижу.

Прости, детка моя, за бессвязность и бессодержательность письма: еле сижу, так спать хочется, и ничего почти не вижу, глаза слипаются. Будь только уверена, что я преизрядно люблю тебя и больше всего тогда, когда ругаюсь. Знай, что еще ни один раз я не заснул без мысли о тебе, моем Боге, которому я верю, но которому не доверяю. Пойми, что я уж по одному тому не перестану любить тебя, что мне без тебя — капут. Прощай. Целую тебя столько раз, сколько может быть перестановок в этом слове (Не правда, видно сразу, что мне теперь 4 по математике?).

Твой Л. Андреев.

Мать кланяется, тетка кланяется. Влюбленный в тебя Лещинский просил передать тебе свои стихи, в которых говорит, что он сгорел от страсти, но я, кажется, потерял их. Целую твои ножки и ручки.

---

[1] Николай Иванович Горшечников, преподаватель истории и географии в Орловской гимназии. «Превосходно зная свой предмет, Горшечников умел увлекательно рассказывать, чем, естественно, привлекал слушателей. Отличался он и своим либеральным отношением к молодежи» [7, с. 18].

24

23 мая 1891. Орел

23 мая.

Зинаида,

Сегодня получил твое письмо. Не будучи свиньей, спешу ответить, но ограничусь пока пересказом одних наиболее важных событий, причем различные детали оставлю до следующего раза. После твоего отъезда, я, как и говорил раньше, стал пить. В субботу 11го у нас кончилось ученье; решено было отпраздновать это солидной попойкой. Поехали на лодке; пили много, а я больше всех; часам к 11 я впал в бешенство, подобное тому, как на Святой у А.Ф., но еще более сильное и неукротимое. Картина 1-я. Я, освещенный заревом костра, стою с оскаленными зубами, с дикими глазами и говорю речь; красная рубашка с засученными рукавами и расстегнутым воротом и бутылка, которую я держу в руке и грожусь убить всякого, кто подойдет — делает меня действительно страшным. Речь

же произнесенная начинается так: «Вы все, подлецы, мать вашу… своей пошлостью и тупостью заели мою жизнь…» и т<ак> далее. Говорят, что я и трезвый никогда не говорил таких умных вещей, каких насказал тогда. Затем говорил некоторым в частности: так, Лещинскому: «Ты корчишь из себя идеалиста, а на деле такой же карьерист и мерзавец, как и все и т. д.».

Картина 2-я. Я разношу всех; паника; Шлеммер, спасаясь от меня бегством, переплывает реку; Арбузов[1] забирается в какой-то ров. Добираюсь до лодки, в которой сидят Лещинск<ий> и Плотников[2], и топлю лодку купно с пассажирами. Антоныч кричит: «Спасите, спасите!..», но, к счастью, оказывается мелко.

Картина 3-я. Я на лодке с Цвет<аевым>, Кречетниковым[3] и Лощинск<им> стараюсь нагнать реалистов, которых желаю бить; но так как гребу с такой силой, что после второго взмаха весло летит пополам, а Кречетников так пьян, что не в силах держать весла, то я бегу за ними по берегу. Они, выйдя из лодки, также бегут от меня, но потом останавливаются. Я врезаюсь в самый центр и через несколько минут ожесточенной борьбы, они меня сваливают и связывают. Я бьюсь головой о землю, затем развязываюсь как-то, бросаюсь в речку, откуда меня вынимают и отправляют, уже почти очухавшегося, домой.

Цветаев, один из всех не оставивший меня, хоть я его и бил, и со слезами моливший реалистов не бить меня, провожает меня домой (Реалисты были: Штернберг, Антонов, Харитон<ов> и Малинин).

После настроение отвратительное. Нервы вконец расшатаны, так что принужден пить все время. Во время наступивших за этим письменных экзаменов одна только водка поддерживает меня. Несмотря на это, сочинение пишу на 3, за что дир<ектор> страшно ругает меня; впрочем, экзамены сошли благополучно; по математике все три задачи списал при помощи Цвет<аева> и Арбузова. Но волновался страшно: *ни одной ночи не спал.* Провалившихся много. И.И. Немолякин по алгебре и тригон<ометрии> подал чистые листы. На него экзамены так же страшно подействовали: осунулся, похудел — и, кажется, задаром. У Козлова две задачи неверны. Всех решивших верно все задачи 6 человек и я в их числе.

Арбузов по геометрии не решил (виноват сам: я дал ему записку, а он не захотел переписать, потому что не понимал, откуда все это у меня берется; и часть взял моего, а часть своего оставил и вышла чепуха). Женичка Цв<етаев> решил (списал) все. Лещинский отчасти списал, отчасти сам решил. После экзамена мы все опять пили в Город<ском> саду. И вчера пили. И нынче пить будем.

Два часа тому назад мне сообщают, что меня кто-то спрашивает. Выхожу. Оказывается, от директора: просит прийти к нему на дом в пять часов. Зачем — неизвестно, Отправляюсь и ожидаю самого худшего. Оказывается, по делу Кутепова, которое разбирается завтра: Кут<епов> прислал директору письмо и просит обратить внимание на это дело, так что, говорит директор, мне теперь волей-неволей придется поставить 4 повед<ения>.

Хотя в данную минуту настроение мое довольно сносное, но я не хочу писать тебе ни о том, как подействовало на меня твое молчание (ты обещалась написать сейчас же по приезде), ни о том, как мне была приятна приписка в письме Вейнштока[4]. «P. S. Зинаида Николаевна просит *не обращать внимания* на то, что она Вам не пишет, что хлопоты (о примирении М.Г. и В<еры> Игнат<ьевны>[5]) и настроение (?!) не позволяют», ни о том, из-за чего и зачем я пью, ни о том, влюблен я или нет, а не хочу писать оттого, что боюсь наговорить тебе слишком много оскорбительных и грустных вещей. Но помни, что я никогда не прощу *этого* молчания и что *наши отношения с твоего отъезда изменились* (но не порваны). Целую тебя и твою руку.

Твой Л. Андреев.

---

[1] Александр Петрович Арбузов (1873–1916) — товарищ по гимназии, в будущем — близкий университетский друг. Как и Андреев, окончил юридический факультет Московского университета, был почетным мировым судьей в г. Болхове Орловской губернии.

[2] Владимир Александрович Плотников (1873–1947) — товарищ по гимназии, влиял на круг чтения Андреева, в частности, указал ему на работы Эдуарда фон Гартмана (*Дн1*. Л. 12 об.). Позже учился одновременно с ним на естественном факультете Московского университета, является прототипом Новикова, одного из персонажей «Рассказа о Сергее Петровиче», фабула которого связана с реальными событиями тех лет. В последующем выдающийся ученый, член-корреспондент АН ССР, основатель новой отрасли в электрохимии.

[3] Шлеммер, Цветаев, Кречетников — одноклассники Андреева; см.: [12, с. 59].

[4] В.А. Вейншток приехал в Орел летом 1891 г. и первоначально произвел своими радикальными взглядами глубокое впечатления на местную молодежь. Позже Андреев в нем разочаровался (см.: *Дн4*. Л. 23–23 об., л. 53 об. – 54). Организатор нелегального кружка, разгромленного в 1892 г., был дружен с В.И. Гедройц. Переводчик книги Ф. Ницше «Генеалогия морали» (СПб.: Вестник знания (В.В. Битнера), 1908).

[5] Серия эксцессов между В.И. Гедройц и ее женихом М.Г. П-ым в сентябре 1891 г. привела к кризису: после того, как Гедройц отправила ему «письмо с форменной отставкой», она получила ответ, в котором говорилось, что «пора кончать эту комедию, в которой он играл такую глупую роль. И он кончил ее, потому что, когда В.И. читает его письмо, его уже нет на свете. Конечно, с В.И. сейчас же нервный припадок; отправляется Зинаида к брату М.Г. узнать, действительно ли тот убил себя, — там ничего не знают» [2, с. 103]. Через два дня в дневнике Андреева отмечено: “О М.Г. вестей никаких нет. Можно предположить, что его письмо просто буффонада <…>» [2, с. 104]. Вместе с тем эту историю позже Андреев использовал (в трагическом ключе) в своем неопубликованном при жизни рассказе «Нас двое» (1899), см.: [4, с. 770–771].

25

30 мая 1891. Орел

30 мая 91.

Сию минуту получил твое письмо и спешу ответить, хотя решительно минуты нет свободной: завтра Закон, а я еще не готовился. Вчера был Совет; допущены все, за исключением Ив<ана> Иваныча. К Арбузову в 10 ч. ночи директор прислал сторожа с требованием явиться в гимназию. Там он, после изрядного нагоняя, заявил Арбузову, что только благодаря его, директора, стараниям он допущен, так как у него по гречески два, и по математике ужасно плохо. (Мне самому по алгебре 2). Сильно боюсь устных экзаменов: как есть ни черта не знаю, и готовиться почти не могу; вчера еще довольно сильно занемог, но нынче несколько лучше. Дело у мирового кончилось тем, что Кутеповой на ее прошение «о буйстве» отказано, а за «оскорбления и угрозы» я приговорен к 20 р. штрафу. Относительно 4 повед<ения> я спрашивал нынче директора, но он говорит, что вопрос о поведении будет обсуждаться 7 июня. Если мне поставят 4, то придется 1) ехать в Москву, где примут в университет *обязательно*, 2) лишиться права на стипендию и на освобождение от платы за ученье.

Теперь вкратце отвечу на другие твои вопросы, требующие слишком много времени для полного ответа. Я тебя люблю и никогда не сомневался в твоей любви, но наши любви вовсе не так сильны, как мы могли бы оба думать. Затем, я говорю, что наши отношения *изменились* вовсе не потому, чтоб я придавал много значения *одному* твоему молчанию, но потому, что вижу в нем подтверждение истины, в которой я убедился за твое пребывание здесь: *мы не понимаем и не можем понять друг друга*. И эта истина, а не твое молчание, служит основанием для перемены наших отношений. Как они должны измениться — напишу после, сейчас некогда. Замечу только, что они должны основываться на принципе *абсолютной* личной свободы.

Я пью сильно, хотя на время устных экзаменов придется, кажется, бросить это занятие. А пью я потому, что две недели тому назад для меня оставалось два выхода из гнетущего меня состояния: прикончить себя или пить. После целого ряда умозаключений, о которых тоже в свое время напишу, я пришел к последнему — и стал пить.

До сих пор я еще ни в кого не влюблен и, боюсь, не влюблюсь; ухаживать (за Д<митриевой>) ухаживаю, но фактически тебе не изменял. Об этом тоже после. Твое молчание огорчило меня потому еще, что ты 1) *обещалась* написать первой, тотчас по приезде

в Петербург, 2) и я находился все то время в таком мучит<ельном> состоянии, что твое письмо было бы для меня громадной поддержкой. — Приписке Вейнш<тока> я поверил потому, что там сказано: «Зин<аида> Ник<олавна> *просила передать*… и т. д.». — Арбузов от тебя в восторге; говорит, что в тебе первой видит настоящего человека. За время моего «пьянства» мы с ним еще более сошлись, и он, почти согласившись ехать со мной в Петербург, говорит только, что там не даст мне пить — много, конечно. Мать теперь тоже начинает сдаваться и не так уж ругает Пет<ербург>; дело, стало быть, за одной пятеркой. Вейнштока мать ненавидит и полагает, что я теперь совершенно подпал его влиянию. Почему она так думает — неизвестно. Ты слишком что-то боишься сплетен В<ейнштока>, но я постараюсь им не верить.

Итак, Зинурочка, прощай пока; спи спокойно и знай, что я теперь люблю тебя даже больше, чем когда ты здесь была. Ведь и ты, наверное, так же? Целую тебя, но не так, как ты думаешь, а крепко, крепко.

Твой Л. Андреев.

Сейчас пришлось быть свидетелем возмутительной картины: тяжело видеть слезы вообще, но невыносимо смотреть, когда навзрыд плачет двадцатилетний малый. Ты помнишь Наумова? Он ведь жил уроками и жизнь его сама по себе ад сущий, а тут он еще провалился на физике и его исключили. Страшно плакал; совестно даже за свою радость по поводу допущения становится, когда его увидел. Проклятая гимназия, с фундаментом бы тебя срыть нужно! И жизнь эта сволочная, беспроглядная.

Зинурочка, не смотри на то, что мало ласкательных слов написал: они у меня в сердце. Я люблю тебя, хотя чувствую, знаю, вижу, что в тысячу раз лучше было бы, если бы эту любовь уничтожить. Зиночка, вспомни твое письмо к кому-то из петербур<гских> знакомых. «*Единственная* отрада для меня — это ваши письма». Теперь вокруг тебя много отрад; кланяйся им, кланяйся Алек<сею> Ал. и скажи, что я, даже не видя его, на основании одних твоих рассказов, воспылал к нему нежной страстью. Целую еще много раз тебя.

Твой Лео.

Марок не присылай: теперь деньги есть.

26

1 июня 1891. Орел

1 июня.

Спешу воспользоваться свободной минутой и поговорить с тобой, моя дорогая Зинурочка.

Закон вчера сошел превосходно: мне удалось подметить один билет и заблаговременно выучить его. К довершению моего благополучия о. ректор, сволочь и придира, каких мало, явился только как раз к концу моего ответа. Нынче латинский тоже сошел благополучно и теперь приходится бояться (слегка) одной математики.

Вчера утром до экзамена виделся с В<ерой> И<гнатьевной>; довольно много говорили о Петербурге и всякой такой штуке. Узнал от нее, что ты никак не можешь добиться места и что, быть может, с половины июня поедешь к ней в деревню. Последнее для меня очень приятно: есть, стало быть, надежда увидеться с тобой, моя глупенькая Зиночка, полагающая, что я ее не люблю! В.И. мне очень понравилась. Скажи пожалуйста, свойство ли это всех петербуржцев — простота или только это В.И. такая? Удивительно, как я (а ты ведь меня знаешь) легко чувствовал себя с ней: как будто мы уже 200 лет знакомы. Днем же ко мне явился Вейншток, утерявший последнюю лепоту и благообразие, был у меня весь вечер и ночевал. Ты напрасно опасалась его сплетен: он оказался человеком очень благородным и или только хорошо говорит о тебе, или молчит. Несмотря на это благородство, разочаровался я в нем ужасно: в море слов капля дела. Скажи, он сильно ухаживал за В.И.? и где теперь и на каком положении М.Г.?

Чувствую я себя, Зинурочка, вообще, довольно сносно, но нынче хуже, чем вчера. Погода-дьявол виновата: дождь, холод, слякоть — точь-в-точь Петербург. Меня огорчает то, что тебе очень скверно теперь, одной, в Пит<ере>. Зачем ты порвала отношения с своими знакомыми? Не думай, голубка моя, что это приятно мне; нет, деточка, мне приятно, чтоб тебе было весело, но чтоб только я был для тебя дороже этих знакомых. А рвать с ними зачем? Без надобности… Неужели ты и с этим карапузиком бородатым тоже поссорилась?

У Арбузова и Лещинского экзамены идут тоже хорошо. Вот только греческого они боятся: ухитрились, дурачье, за письменный по паре получить, и их теперь будут страшно тягать.

Я не писал Варваре с Святой; если, голубчик, будешь писать ей, то извинись и скажи, что после экзаменов огромаднейшую епистолию пошлю ей. Да, Зинурочка, ты забыла здесь задачник Верещагина[1] и в нем карточку Николая Евграфовича; то и другое у меня спря-

тано. — Стаценко сошли от нас, и мы теперь на их месте; терраса теперь наша. Прощай, моя радость; теперь буду писать только после экзаменов, 6-го, и тогда подпишусь: полный студент, а пока тебя целуют только 3/4 студента

Л. Андреева.

Арбузов и Лещинский кланяются. Письмо не посылаю — денег нет на марки.

---

[1] Имеется в виду выдержавший множество изданий популярный «Сборник арифметических задач» математика и педагога Ираклия Петровича Верещагина.

27

8 июня 1891. Орел

8 июня 91.

Зинурочка, ура! Нынче утром имел неизреченное счастье получить из рук Ив. Михалыча аттестат, милый, дорогой, бесценный аттестат. И нужно отнести к чести нашего педагогического Совета вообще и И.М. в частности, что этот аттестат не запятнан четверкой поведения: поведение *отличое*. Представь, какой комизм: мне по-немецки на экзамене 4! Но пострадать вообще пришлось много; сама посуди: по математике на устном я отвечал ровно 1 ч. 20 мин., тогда как другие не больше 15 минут. Тягали как есть по всему курсу, а я готовился всего лишь *2 часа*.

Скверно только теперь одно: бедному Алекс<ею> Петровичу 4 поведения — за что, и черт их знает. Он, впрочем, не особенно огорчен. Да по математике-то: я тебе писал, что мне по всем отделам 3, а оказывается, что по тригонометрии 1, а по алгебре 2. А у Алекс<ея> Петрова и того лучше: по алгебре кол, а по остальным пара. Его с большим трудом допустили до устных. Ну да теперь все это к черту! Постигни, Зинурочка, теперь только одно: я, я студент, могу не знать математики, не помнить ни одного текста, судиться у мировых и т. д. А Кутепу-то нос какой! Мы еще вчера, бывши в подпитии, в 3 ч. ночи задавали ему под окнами серенаду, и голоса наши были столь дики, а напев так ужасен, что он принужден был во все горло звать городовых и сторожей.

Зиночка, что ты, радость моя, ерундишь и говоришь, будто я из жалости так писал тебе. Пора, голубчик, оставить это: знай твердо, что я тебя люблю, а ежели я говорю об изменении наших отношений, так только потому, что *я сволочь*, и прекрасно сознаю это. Я не могу не изменять, не могу не пить водки, не могу не безобразить; а если ты меня будешь удерживать от этого, то я тебя возненавижу. И я со-

знаю, что, будучи таковым, я не имею права требовать и *пользоваться твоей любовью.* И вперед тебе говорю: сколько б я ни давал тебе честных слов относительно беспорочности своего поведения, ты им, деточка, не верь: ни одного не сдержу, когда искушение явится.

У меня не рассудок руководит страстями, а наоборот, как сказал Горшечников. Поэтому отчасти замечательно верны и глубоки по смыслу слова твои: «видно, что ты любишь меня сердцем, а не головой». Да, Зинурочка, голова мне говорит: «брось эту любовь; ты сделаешь несчастным и себя и ее», а сердце, глупое сердце твердит одно: люблю, люблю! Ну да поговорим об этом, когда приедешь, а то писать не хочется. Настроение изумительное: спать не могу, нервы как струны: хочется двигаться, шуметь и т. д. Ты спрашиваешь, что значит фактически: значит, что я не осквернил уст своих сахарных ни одним поцелуем, и что другие части моего тела находятся в такой же ангельской чистоте. А вот объясни ты, что значит штемпель Москвы на твоих письмах? Я, как ни ломал голову, не мог понять. Мы с Вейнштоком довольно хороши. Сегодня он, кажется, уехал на Брянск *и другие места*, которые, как я боюсь после разговора с В.И., едва ли окажутся для него злачными. Он здесь старался совратить с пути истинного Арбузова, но, отдавши должное почтение его идеям, от более близкого знакомства с проповедником уклоняется. Прощай, деточка. Ожидаю скоро увидеть твою рожицу. Оставь ты поганый Питер и приезжай или ко мне, или к В<ере> И<гнатьевне> под сень струй. Не суди по разгонистому почерку и не думай, что это с целью больше места занять — нет, моя подозрительна Зинурка, это просто потому, что мое перо старается не отставать от моих мыслей. Прощай, тысячу раз целую тебя.

Твой студент Пет<ербургского> Им<ператорского> Унив<ерситета>

Л. Андреев.

Аттестат, ура!
Шапку я уже купил.

28

26 июня 1891. Орел

26 июня.

Ах, Зиночка, Зиночка, — скверно мне. Тоска смертная опять овладела мной; не знаю, что делать, куда бежать от ней. Утро-то и день еще ничего: забитый мелочами жизни, ходишь, говоришь, даже смеешься, как автомат, как не сознающая себя машина, но когда вечером в Саду останешься один, когда пробудится сознание и нах-

лынут на тебя страшные, скверные мысли — так, ей-богу, с радостью бы, кажется, уничтожил эту гнусную жизнь, что дает такие жалкие радости и такие могущественные скорби. С ненавистью гляжу на эту снующую, гомонящую толпу, на этих двигающихся, чувствующих, мыслящих манекенов. Вглядываюсь в каждое лицо с страстным желанием найти хоть одного человека, приметить хоть ничтожную искру Божию, — напрасно… Видишь одни пошлые лица, видишь одни бессмысленные глаза, слышишь одни убийственно скучные разговоры. Деревянные люди, деревянные мысли и чувства. И чудится минутами, что нет на самом деле ничего этого, нет ни Сада, ни этой толпы, что все это — шутка какого-нибудь злого волшебника, а что придет минута — и все рассыплется в прах, исчезнет, как дым и явятся настоящие люди, настоящая жизнь. Но проходит минута, проходит другая — а они все тут, они, единственно реальные, милые люди. Опять видишь себя затерянным в толпе, и возникает новый вопрос: «да что же такое сам-то я? откуда я беру право презирать и ненавидеть толпу?» Ведь взаправду, что я такое, как не такая же ничтожная, незаметная частичка презренного человечества, как и они. Быть может, среди них ходит такой же, как и я, так же ищет человека и не находит его, и смешивает меня с толпой. Есть ли в моей жизни, прошедшей и *будущей*, что-нибудь, что сделало бы меня хоть на линию <?> выше их, выделило бы меня из этого уровня посредственности и ограниченности? Нет, ничего нет. Говорю то же, что и они говорят, делаю то же, что и они. Ни один, решительно ни один мой поступок не выходит из этого уровня. Даже подлости мои, на которые я когда-то взял привилегию, так же мелки и посредственны, как и их. А голова, эта жалкая, безумная голова — отличается ли хоть на йоту от безмозглых голов этих идиотов? Родилась ли в ней хоть одна собственная оригинальная мысль, не была ли она весь век лишь снарядом, предназначенным для отражения чужих мыслей, чужих взглядов, да и то лишь таких, которые так же не выходят из уровня посредственности? Посредственность, посредственность и посредственность… Что такое Леонид Николаевич Андреев? А это — одна трехмиллиардная часть человечества!

И чувствуешь вместе с тем, что дремлет в тебе какая-то великая необъятная сила, и эта сила — сила любви. Найти бы только исход этой любви, полюбить что-нибудь так, как она того требует — и горы, кажется, с места сдвинул бы… Да что полюбить-то? Людей? Так ведь их можно только ненавидеть. Науку? Но науку любят умом, а у меня сердце, мятежное сердце ищет любви. Ведь сердце у меня чуть не разрывается от страстного, неистребимого желания любви,

а голова… голова только смеется над сердцем, над этими строками, писанными от сердца. Любить женщину? Но ведь женщина такой же человек, как и я, такой же смертный, несвободный, ограниченный, а я хочу любить то, что абсолютно, вечно, что меня, своего адепта, сделало бы бессмертным и великим… Да

Любить… Но кого же? На время
Не стоит труда, а вечно любить
— невозможно![1]

И все это ерунда. И ты, Зинурочка, пожалуйста не смейся надо мной, а, если можешь, постарайся почувствовать то, что я чувствую — мне будет легче. А тебе тяжелей… Вот он, беззастенчивый-то эгоизм человеческий. Не сердись, что я, любя тебя, говорю о любви к чему-то. Ты несовершенна. Александр Александрович… Но насколько могу я любить человека, настолько я тебя люблю. Люблю тебя как товарища по несчастью, т. е. по жизни, как друга, пред которым могу открывать святая святых души моей. А как пусто и бессодержательно это святая святых! Это, впрочем, в скобках. Еще люблю тебя как женщину — и эта любовь сильней всех, потому что теперь для меня во всем свете существует одна лишь женщина — это ты, ты, моя милая, дорогая, ненаглядная… А сейчас пойду в Сад — и опять буду тосковать. А нейти нельзя, и не быть одному также нельзя: если я все время, с утра до ночи, буду с этими милыми людьми, я сойду с ума и буду их «разносить». Прощай, целую тебя и жду письма.

Твой Лео.

[1] Строки из стихотворения М.Ю. Лермонтова «И скучно, и грустно…» (1840).

29

1–2 июля 1891. Орел

1 июля.

Очень рад, Зиночка, что тебе так хорошо живется. Напрасно ты жалеешь о своей теперешней неспособности жить умственной жизнью: она от тебя еще не уйдет, а здоровье тебе необходимо, вот ты им и запасайся. У меня самого, голубочка, несмотря на более благоприятные условия, редко, редко блеснет в голове какая-нибудь мыслишка, да и та сейчас же погаснет. Хотя на каждом шагу, всюду вокруг себя и в себе, видишь такие фактики, которые невольно вызывают критическую работу мысли, но сама мысль эта какая-то

сонная, вялая — противно думать даже. Таким манером я теперь, насколько это возможно, живу растительною жизнью: ем за пятерых, сплю за десятерых, а думаю за половину. Скучновато все-таки, серо как-то, и в настоящем и в будущем. «Будем жить вместе»… это действительно хорошо, да только нужно присоединить сюда еще один глагол взаимного залога, который может испортить эти хорошо, именно: «будем ругаться». Авось, впрочем, этого в новой обстановке и не будет. Скверно то, что теперь во всякой вещи одну ее изнанку видишь — и унываешь. — Несколько вечеров подряд бывал у Дмит<риевых>, вчера ходил с ними в Ботанику[1]. Мы с Л<юбовью> Н<иколаевной> окончательно решили быть братом и сестрой, и теперешние наши отношения, ежели они продолжатся, позволяют думать, что это возможно. Мне теперь совестно ее обманывать и корчить из себя влюбленного. В самом деле, она очень порядочный человек. Все вообще их семейство очень хорошо относится ко мне, так что я давно уже решил сбросить с себя напускное дон-жуанство и быть с ними, как с людьми хорошими, запросто. Совсем почти теперь не пью и не чувствую позыва к водке, но без нее очень трудно поддерживать душевное равновесие. Можете приезжать к нам смело: весь дом будет к вашим услугам: целых 10 комнат, в какой хочешь, в той и располагайся. Комфорту, конечно, ждать нечего — ты знаешь, как мы живем, — но пристанище есть. Повторю еще раз, что ваш приезд для меня был бы очень приятен. Передай В<ере> И<гнатьевне> мою благодарность за ее приглашение. Я бы — несмотря на прежде сказанное мною — воспользовался им, но дело в том, что я запоздал с своим прошением в унив<ерситет>, и мне теперь приходится возиться с перепиской бумаг и т. д. Передай ей также мои объятия родственного свойства и таковой же поцелуй. Тебя также, *голубка моя* (совсем нечаянно написал, извини) целую, но только и с количественной и с качественной разницей, т. е. целую бесчисл<енное> множество раз и притом крепко-прекрепко. —

Твой Л. Андреев.

2 июля. Зинурочка, я тебя очень люблю.

Мать была недавно в заведении, где ей делали какую-то операцию, и теперь несколько прихварывает. Вар<вары> не видал, а П.Ф. нет в Орле.

---

[1] Ботанический сад в Орле.

30

2–5 июля 1891. Орел

Так как до отхода почты времени еще много, а марок всего одна, то вместе с письмом к В<ере> И<гнатьевне> напишу и тебе несколько строчек, моя дорогая Зиночка. Но ведь

Non multum, sed multa[1],

и ты в этих немногих строчках найдешь очень много. Найдешь прежде всего, что я не забыл о твоем существовании и даже наоборот: думаю о тебе денно и нощно, и в особенности на сон грядущий: тогда сны хорошие видишь. Люблю тебя крепко-прекрепко. Сила моей любви в данную минуту, наверное, не меньше тысячи лошадиных сил. Сравнение хотя несколько аляповато, но зато верно. К женскому полу влечения никакого не чувствую, и каждая новая женщина, которую я вижу, заставляет меня только в более ярком свете видеть твои преимущества.

<сердит…>[2] за твое письмо. Какое ты имеешь право говорить: «писать нечего»? Да я, например, могу говорить о тебе 40 дней и ночей подряд, и все-таки всего не выскажу. Можешь письмо наполнить одним словом «люблю» и в одном этом слове будет столько смысла, столько содержания, сколько не найдешь его у всех мастеров разговорного дела. Я, Зинурочка, все продолжаю изнывать и казниться о своем ничтожестве. Ну да эта минута просветления скоро пройдет, и я опять сознаю себя великим, таким великим, как Эйфелева башня.

На твой вопрос, как учить граммат<ику>, ничего удовлетворительного сказать не могу. Иногда примечания и мелкий шрифт бывает важней крупного. Пока учи крупный, а когда приедешь в Орел, я покажу, что нужно учить из примечаний. Параллельно с изучением грамм<атики> занимайся переводом, а то иначе у тебя сейчас же все испарится. Напиши, когда приедешь, я выйду встречать. К В<ере> И<гнатьевне> я не могу поехать[3] потому, что 1) опасаюсь оказаться нежеланным гостем для ее родителей, и тем поставить ее в неловкое положение и 2) буду, с своим характером, стесняться. А это хуже всего. Надеюсь скоро увидеть тебя, моя радость. Целую тебя без счета.

Твой Лео.

---

[1] Не много, но многое (*искажен. лат.*: non multa, sed multum).

[2] Дефект текста, так как край письма оторван.

[3] Речь идет о приглашении в гости в имение родителей В.И. Гедройц. Андреев вскоре принял это приглашение; см. п. 33.

31

7 июля 1891. Орел

7 июля.

Зиночка, ты, наверно, поняла мое письмо, усмотрев в его бессодержательности признаки моей нелюбви. Я тебя люблю, но у меня в голове ни одной мысли нет и нет на языке слов, которыми я мог бы говорить о своей любви. Я же тебе об этом написал и теперь еще раз повторил, чтоб ты и из этого письма не вывела того заключения, что я не люблю тебя или люблю мало. А на тебя я, детка, сердит: слишком мало ты мне пишешь и оставляешь меня на жертву орловским влияниям. Ты ошибаешься насчет наших отношений с Дмитриевой. Она относится ко мне совершенно бескорыстно и не имеет никаких притязаний на мою любовь, как известно ей, вполне и безраздельно принадлежащую З.Н. Сибилевой. Несмотря на то, что я довольно часто хожу к Дмит<риевым>, эти визиты не мешают мне и не избавляют от матушки-сивухи. Последнюю неделю пил, и довольно сильно. Но ты не сердись и не огорчайся, а пойми, что иначе нельзя: можно с ума сойти от нашей пустоты и скуки, если время от времени не вливать в себя «воды живой», затуманивающей ум и из ничего создающей воздушные замки. Ты своими разговорами о приезде только расстроила меня: ожидал тебя каждый день и всуе радовался. Вчера вечером были у меня Арбузов и Лещинский. Лещинский по обыкновению наводил тоску своими старушечьи-благонамеренными рассуждениями и планами будущей жизни; Арбузов, по своему обычаю, хандрил и говорил, что только со мной он может перекинуться живым словом. Он пошел на компромисс: едет пока в Москву, а к Рождеству или в будущем году намеревается перебраться в Питер. О З<инаиде> Н<иколаевне> по-прежнему отзывается восторженно и краснеет, когда я говорю, что он понравился тебе и Гедройц. Через неделю он, по всему вероятию, будет опять в Орле. Он остался очень недоволен своей ролью пятой спицы, и боится, что если будет жить с нами в П., будет представлять из себя то же. Он, кажется, — судя по недосказанным словам и намекам, — очень желал бы взять роли первых любовников, не к тебе, конечно, но вообще. — Я снялся, послезавтра отправляю прошение; с Варварой иногда вижусь в Саду, где ее прогуливает тетка. Ты получила ее письмо? Вейншток сильно пьет и говорит горькие истины Алек<сандру>А<лександровичу> и его присным. Ал<ександр> А<лександрович> невидим и непостижим. Я этому, по совести, очень рад. Вейншток спрашивал у меня, как расстались В.И. и М.Г. Ответил, что хорошо. В<ейншток>, кажется, до сих

пор пламенеет к В.И., хотя скрывает это. До свидания, Зинурочка, целую тебя и жду как можно скорей в Орел.

Твой Л. Андреев.

Поклон Вере Игнатьевне. Арбузов также кланяется.

32

13 июля 1891. Орел

13 июля.

Дорогая моя Зинурочка! Приехать едва ли придется, и, во всяком случае, приеду не раньше среды, да и то если удастся достать билет на свое имя. Не сердись. Пойми, что мне и самому хотелось бы повидать тебя, моя деточка, и побыть с тобой. Сейчас, Зинурочка, 1/2 одиннадцатого, лег вчера в 3 ч. и теперь насилу встал, чтоб написать письма. Вчера был в Саду, где видел интересную компанию: А<лександра> А<лександровича>, Вейнштока, Розу и Короткова. Они сидели и за столиками и воодушевлялись, так что к концу вечера Вейншток ораторствовал на весь сад, вызывая комментарии к своей речи у соседей. У Дм<итриевых> я не был, нынче, должно быть, пойду: мне хочется поговорить с Кореневым (товарищем Ильина), который вчера приехал и нынче будет у них. Люблю тебя, Зиночка, сильно, хандрю еще того сильней: вчера весь день, как в воду опущенный, проходил. В следующем письме поговорю, как вяжется эта хандра с любовью и отчего она. А пока, детка дорогая моя, прости меня и прими от меня уверение в том, что ничего бы я сейчас так не хотел, как целовать тебя, целовать долго, крепко, горячо до умопомрачения.

Твой Л. Андреев.

33

15 июля 1891. Орел

15 июля 91.

Извини, Зиночка, что пишу не так часто, как обещал. Дело в том, что, давая обещание, я совершенно упустил из виду одно обстоятельство: семикопеечную марку, которую надо наклеивать на каждое письмо. Ты, счастливица, и не поймешь, как можно не писать из-за такого ничтожного обстоятельства и найдешь какую-нибудь другую сверхчувственную причину — но ты будешь неправа. — Сообщу тебе неожиданную и приятную новость. Вчера вечером, во время чая, является ко мне некая особа, в которой я сразу узнаю Ольгу Ярославну. Целью ее прихода было узнать твой адрес и оставить тебе свой, который я и сообщаю: Екатеринослав, Заводская улица,

дом Абазы. Она довольно сильно изменилась, похудела, постарела. Расспрашивала о тебе, что и как; показал ей твои карточки. Говорит, что ты на них слишком напоминаешь «барышню», но я ее успокоил и сказал, что ты та же, что и раньше была, только еще легкомысленнее стала. Расспросить ее о своей жизни я не имел возможности, так как при разговоре присутствовала мать и Т.Г. Знаю только, что она едет на родину, но о дальнейших ее намерениях и планах не имею понятия. Просила тебя писать ей. Не могу тебе сказать, понравилась она мне или нет. Удивительно только, что разговаривая с ней, я чувствовал, как будто мы давно, давно знакомы. С ней была какая-то тучная, гиппопотамовидная госпожа, но кто она — не знаю.

Ходил нынче в В. Прав<ление> доставать себе билет, но не достал: из Петерб<урга> приехало какое-то высшее начальство, Хлуденев[1] все время занят, так что видеть его нельзя было. Пойду опять послезавтра, и если достану, то в тот же день и выеду, т. е. буду в Слободище *в четверг утром*. Мне почему-то не особенно хочется ехать, хотя в Орле тоскую смертельно. Тоска временами доходила до того, что, увеличься она еще на йоту — и, кажется, с радостью убил бы себя. В особенности скверно было в субботу. Вечером, как я уже писал, отправился к Дм<митриевым>. Коренева не было. Следующая картинка даст понять тебе, как я был далек и от веселья и от самомалейшей тебе измены. Надежда и Арх<ангельский> играют на рояли какую-то наиглупейшую польку-мазурку, причем Архангельский подпевает и оба они хохочут. Я стою тут же, смеюсь с ними и на глазах у меня слезы, но не от смеха, а от страшной, невыносимой, душевной муки. С Люб<ой> за весь вечер обмолвился двумя-тремя словами. Но вчера вечером видел ее опять в Саду и долго гулял с ней. Но и тут я не изменил тебе, хотя был *несколько* пьян и бесшабашен. С удовольствием повторил бы тебе весь разговор наш, но не в состоянии, вследствие его вящей нелогичности и бессодержательности, а также потому, что рассказом только увеличу свою хандру, чего я *не хочу*. Да, Зинурочка, заметь, пожалуйста, это слово, тебе теперь часто придется иметь с ним дело. Видишь, я это время очень много размышлял о себе и о моем отношении к окружающим меня людям вообще, и к тебе в частности. Вот что я нашел. Вследствие особенностей моего развития, в силу которого у меня нет своей точки зрения ни на один предмет, я слишком часто свою *мысль*, свои *желания* подчиняю (иногда совершенно бесцельно) окружающим меня людям. Это заставляет меня страдать и мучиться сознанием своей несвободы. Крайним проявлением этого сознания служат мои дебоширства и расшибания. Я тебе как-нибудь после

объясню причинную связь между этим сознанием и расшибаниями, а пока буду продолжать. Итак, я подчиняюсь всем — и тебе, Зиночка, в особенности. Зависит это от того, что я тебя больше всех люблю. Ты, например, просишь меня — помнишь? — ехать с платформы, а не идти, потому что ты будешь беспокоиться обо мне. Для меня гораздо лучше было бы идти, но я знаю, что это тебе будет неприятно, мне жаль тебя — и я еду. Ты скажешь, что так и нужно, а я скажу — нет. В самом деле, мало ли какая фантазия может придти в голову любящим меня и[2]

[1] Николай Петрович Хлуденев, управляющий земской Орловско-Витебской дорогой. Андрееву нужно было получить льготный (или бесплатный) билет именно по этому направлению, так как он был приглашен в местечко Слободище Брянской губернии, где находилось поместье родителей В.И. Гедройц и где его уже ждала Зинаида Сибилева. Там он пробыл приблизительно с 18 по 23 июля.

[2] Текст обрывается.

34

24 июля 1891. Орел

24 июля.

Ну, Зинурочка, я уже в Орле. В Брянске Цветаевы приняли меня очень хорошо: накормили и напоили, еле до вокзала добрался. На вокзале (меня провожал Цветаев с братом и еще одним субъектом) опять пили, так что как только ввалился в вагон, так сейчас же заснул и только в Смоленске проснулся. Голова трещит и приклонить ее некуда — денег нет. Пошел с своим чемоданчиком шататься по городу — жара — смерть, еле двигаюсь. Добрался до Город<ского> Сада и, как сел, так сейчас же заснул. Проснулся, пошел в другой сад, разлегся на лужайке — и опять заснул. Проснулся от дождя — на мне сухой нитки нет. Отыскал трактир, напился чаю, купил колбасы и отправился с ней на берег. Там расположился около моста и, к соблазну прохожих, поел ее. Пришел на вокзал, сел и поехал домой. Всю дорогу спал. Во все время путешествия думал о тебе, моя радость, и не всегда эти мысли были радостны. Только замечтаешься о тебе, явятся, как живые, и рожица твоя милая, и губки, и вся ты, моя дорогая, милая — и вдруг сбоку тебя является этот длиннобородый пес и начинает целовать твои глазки… Конечно, мечты к черту, а вместо них изрыгнешь непечатное ругательство, к которым я имею слабость, и плюнешь и на него и на тебя. Ну, Зинурочка, бойся моей любви: несдобровать тебе, если изменишь — своими руками задушу. Если теперь при воспоминании развивается во мне так много зла, что, кажется, с удовольствием вырвал бы с корнем твои глазенки,

опоганенные этим нечистым животным, то что же выйдет, если ты мне на глазах сильно изменишь? Убью, ей-богу, убью! Да, деточка, тебе нужно порвать с твоим петербургским прошлым, со всем, со всем. Смеялась ты над Зинкой Рукав<ишниковой> <?> и Аракчеевой, а в сущности чем ваша жизнь лучше ихней? Тем, что они по Эрмитажам шляются, а вы по Аркадиям[1], — сущность же одинакова. У вас, впрочем, велись при этом просветительные разговоры, с помощью которых ваши безобразия облекались в форму дела — да ведь это еще хуже. Туман от этих разговоров заполонил ваши головы — и вы теперь зубами готовы загрызть того, кто стал бы ругать вашу жизнь. А со стороны-то видней. Да и сама, скажи по совести, что дал тебе Петербург? Развитие? Знания? нравственность? привычку к труду и любовь к нему? сделал тебя менее легкомысленной? Нет, Зиночка, одно дал он тебе — опыт, и дорожи ты этим опытом. А этот год — вычеркни из своей настоящей жизни. Ну довольно, не будем поднимать прошлого, а подумаем о настоящем. Ну как ты там устроилась? и как себя чувствуешь?

Начну с завтраго хлопотать о билете для тебя. А кроме Дмит<риевых> не знаю, где и достать. Зинурочка, дорогая моя, мне ужасно хочется опять быть с тобой. Ты так мало была со мной — и не наговорился и не нацеловался я с тобой. Был с тобой — а теперь опять один. Выпить, что ли? Придется, а то ошалеешь с тоски. Бедный М.Г. — он уже ошалел. Все время был, как ошпаренный. Почему В<ера> И<гнатьевна> была так суха и придирчива при прощанье? и почему она разом не покончит с этой галиматьей? Ведь она даже Вейнштока любит больше, нежели М.Г. Это было бы и честней и гуманней — т. е. порвать сразу. Впрочем, она сама достаточно умна, чтоб знать, что делать. А мне тебя очень хочется поцеловать. В Смоленске я нашел скамейку, где ты, помнишь, нацарапала свой вензель. Нашел я этот вензель, поднялись роем воспоминания, я расчувствовался и… заснул. Зинурка, неужели ты так же много думаешь обо мне, как и я — о тебе? А может об Арбузове или об той поганщине, что зовется А.А.[2]? Я теперь тебе совсем мало верю, уж больно ты, свинья этакая, хитроумна и изворотлива — из воды суха выйдешь. До свиданья, моя радость, мое сокровище неоцененное, целую тебя тьмы тем раз. Ах, как хорошо, если б это можно было бы проделать не на одной бумаге! Помнишь кондуктора? Я с ним ехал назад, и он смотрел на меня с уважением. Целую твою лапочку.

Твой Лео.

Скажи В<ере>И<гнатьевне>, что я скоро буду писать ей и передай поклон ей и Коссовой.

[1] «Аркадия» — увеселительный сад в Петербурге, открытый в 1881 г. купцами Д. Поляковым и Г. Александровым на берегу реки Большая Невка, славился множеством развлечений (эстрада, открытая сцена, постановка оперетт, цыганские хоры, рестораны).

[2] Вероятно, А.А. Хренников, общий орловский знакомый, который осенью 1891 г. поступит в университет и окажется в Петербурге вместе с З.Н. Сибилевой, а потому станет объектом постоянной ревности Андреева. Ср. позднейшую запись в дневнике, от 3 октября 1892 г.: «А повлиять на Зинаиду легко. Стоит только льстить ей, как можно грубее и беспардоннее — и она готова. Хренников же, А.А., несмотря на свою ничтожность, которую признает сама Зинаида, человек ловкий и сумеет легко обойти дурочку. Он ее, наверно, и обошел. Еще в мою бытность в Питере, он так ловко обращался с Зинаидой, что она нередко заявляла мне: “А.А. гораздо лучше относится ко мне, чем ты. Если б он был поумнее да поразвитей, я полюбила б его”» (*Дн5*. Л. 122 об.).

35

26 июля 1891. Орел

26 июля.

Зинурочка! Исполняю твое и собственное желание — поздравляю тебя с днем рождения.

Думал я поразить своих пушкарей рассказом о пожаре[1], а вышло наоборот: они меня поразили. Во втор<ник>, в 4 часа дня в сильный ветер загорелось у нас на угле (у нас, т. е. на Пушк<арной>) рядом с домом Болхов<атина?>. В каких-нибудь 3/4 часа сгорело 6 домов, несколько было разломано. Наш дом находился в сильнейшей опасности. О силе ветра и огня можешь судить по тому, что вся Пушкарная и прилежащие к ней улицы выносились и что у бабушки в саду загорелась вынесенная мебель. Дома у нас переполох был ужаснейший: всеобщий рев, крик. Дети были куда-то отправлены, у матери, вследствие сильного потрясения, открылась прежняя болезнь. Нам помогли вынестись Сахаренок, Хатяев и другие знакомые, буквально все перебывавшие в тот день у нас. Были даже Дмитриев и Наталья. Тушили до 1-го часу другого дня. Подозревают поджог. Пушкарная, а с нею и мама, и до сих пор еще не успокоились. Был и несчастный случай: пожарные налетели на извозчика и так сильно помяли его, что через день он умер. Прости, что пишу так бессвязно: устал и спать хочется. Передай В<ере>И<гнатьевне>, что поручения ее я не исполнил и телеграммы не послал по следующим причинам: на Любохну мы приехали после второго звонка. Когда я напомнил князю о телегр<амме>, он сказал, что пошлет ее из Брянска. На Стеклянной он был все время около меня, так что на его глазах и после его слов, мне посылать телеграмму было неловко. А в Брянске он сам послал. Что пишет Родин? Дорогой мы говорили с И.И. о на-

мерениях В<еры> И<гнатьевны>. Он толковал о ее непрактичности и любви к порханью и доказывал, что дело у нее не пойдет, а я упирал на энергию В<еры> И<гнатьевны> и на ее благие намерения. Кто кого убедил — не знаю. Зиночка, вышли мне, как можно скорей, мою книгу, а то мне читать решительно нечего. Квартира наша снята Поляковыми за 22 р. в месяц. Маловато, да что ж поделаешь. Перейдут с 1-го августа. До свидания пока, Зинурочка. Целую тебя. Передай поклон: глубочайший В<ере> И<гнатьевне>, Д.К. и всем Коссовым и нежнейший Н.И. Спроси у Егор<а> Ефим<овича>, не годится ли ему мой билет от Брянска до Орла (я ехал по билету И.И., в 1-м классе), а то я ему пришлю его. Не забудь, голубчик, прислать книгу. Что-то вы сейчас там поделываете? На основании того, что я клюю носом, вы, я полагаю, уже спите. Утешила В<ера> И<гнатьевна> этого ершеобразного офицерика? или он по-прежнему жалеет, что приехал в Слободище? Еще раз целую тебя и прошу уничтожить это письмо как плохой образчик моих писательских и умственных способностей.

Твой Л. Андреев.

Книгу!

[1] Во время отдыха в поместье родителей Гедройц Андреев стал свидетелем большого пожара. Позже эти впечатления сделаются основой для рассказа «Набат» (1901). В тексте рассказа упоминается деревня Слободищи.

36

30 июля 1891. Орел

30 июля.

Спасибо тебе, Зинурочка, за книгу: ты и не знаешь, как много ты для меня сделала, приславши ее. Одно только не хорошо: почему ты не пишешь ничего? Быть может, занялась другой корреспонденцией? Тогда Бог с тобой — но строчку одну написать все-таки надо. А у меня дела плохи. В воскресенье был ужасно пьян; понедельник болен; а сегодня также нездоровится. Дорогой в Орел простудил глаз, и теперь никуда выйти нельзя, до того он распух. Довольно сильная скука и ощутительная потребность в сильных ощущениях. Настроение то же самое, что и в Слободище было: боишься быть один, стараешься ходить, говорить и всячески действовать, дабы отвлечь себя от внутренней работы, работы самоанализа, который на этот раз грозит мне всем самым скверным. Радуюсь, что уехал из Слободища: хотя теперь к нам переходят Поляковы, так что все мы живем в амбаре, где на мою долю приходится только полтора

аршина пространства, однако я на этих полутора аршинах чувствую себя дома свободней, чем в Слободище на десяти. В этом никто, конечно, из слободищевских не виноват, а виноват всецело один я. Да, Зинурочка, вот для тебя еще новость, несколько неожиданная и неприятная: я решил не показывать тебе дневника. Не возражай на это афоризмом: «у нас с тобой не должно быть тайн друг от друга» — он не выдерживает критики. Если хочешь, я как-нибудь на свободе приведу разумные доводы в пользу своего решения, только боюсь, это будет напрасно: ты не поймешь их и не убедишься ими. По своему обыкновению приписывать подобные решения моей нелюбви к тебе, ты и на этот раз поступишь так же, хотя, честью тебя заверяю, твой контроль был *всегда* тяжел для меня. Не сердись, Зинурочка, но пожалей меня: ведь все следствие моего сознания несвободности, над которым ты, помнишь, смеялась. Напиши, как идут дела относительно пансиона и куда «порхнет» В<ера> И<гнатьевна> — в Париж или в Питер? Передай В.И. мой поклон и скажи ей, что письма, которое она послала накануне моего к ним приезда, я не получал. Очевидно, оно было слишком велико и не дошло с одной маркой. Поклонись всем, как есть, и не забудь В.Л. Целую тебя.

Твой Лео.

Видел вчера в саду М.И., гулял с Васильевой.

37

2 августа 1891. Орел

2 августа.

Зинурочка, что ж ты ничего не пишешь? Неужели это так трудно, или, быть может, некогда? О себе говорить совсем нечего. Был раз у Дмит<риевых>, — и, кажется, последний раз. Бываю в Саду, вижу там Наталью. Говорил с ней о сестрах, о неприятном положении Бориса, для которого в Орле нет вакансии, а в Елецкую не хотят отдавать. Говорил с ней о няне, говорит, что очень плоха, на ладан дышит, в понедельник чуть не померла. Просила сообщить тебе об этом — быть может, найдешь нужным и возможным приехать. Я на всякий случай выйду встретить тебя в субботу на платформу. Скверно то, что если ты приедешь, тебе придется остановиться у Зайцев<ых>, так как у нас абсолютно негде. Если думаешь приехать несколько поздней, сообщи, я выйду встретить тебя.

Твой Л. Андреев.

38

7 августа 1891. Орел

7 августа.

Зинурочка, голубчик мой — что с тобой делается? Только сильным расстройством нерв могу я объяснить и твои беспричинные (*в сущности*) слезы, и твои нелепые предчувствия, и те измены с моей стороны, о которых ты говоришь, как о совершившемся факте, но которые существуют только в твоем воображении. Откуда опять-таки эта уверенность, что я уже не люблю тебя, и просьба откровенно сказать об этом? Неужели ты все это выводишь из моего якобы скверного поведения в Слободище и из того, что я не хочу давать тебе своего дневника? Зинурка, детка моя, перестань быть такой маленькой. Я люблю тебя, люблю. Если я иногда и бываю скверен, так это, деточка, только следствие моего гадкого характера и каких-нибудь посторонних причин. (А они в Слобод<ище>, напр., были). Если я не хочу пока давать тебе дневника, так это вследствие каких-нибудь соображений — подчас слишком оригинальных, для того, чтобы быть нормальными — но все-таки соображений, но никак не нелюбви. Потом — эта Дмитриева. Да, Зиночка, будь я в другом настроении, я, пожалуй, и мог бы, ну хоть на словах изменить тебе — но теперь это для меня так же невозможно, как невозможно взобраться на луну. Чувствую я себя теперь хорошо, голова работает на диво, и если я изменяю тебе ради кого-нибудь, так это только ради книг, которые я буквально глотаю. И сказать ли тебе, какого я мнения о Дмитриевой, чтоб уж раз навсегда избавить тебя хотя от нелепых, но тем не менее, очень неприятных подозрений. Я ее презираю — но не в том пошлом смысле, с каким модистка говорит это своему «кавалеру», но в том глубоком смысле и значении этого слова, для объяснения которого не хватит целой книги. Я много знаю; слишком много для того, чтоб быть счастливым, и вполне достаточно для того, чтобы читать в душе человека, как в раскрытой книге. И я понял душу Дмит<риевой> — и это понимание стало презрением. О ней достаточно. Передам тебе некоторые факты. Няня по-прежнему плоха, но умереть может через год, а может и завтра. Вернее, что еще долго протянет. Был 4 и 5 ав<густа> Арбузов. Условились с ним ехать вместе, *обязательно* $18^{го}$ августа.[1] — Надеюсь, что и вы соберетесь как раз к этому времени. Карточки тебе не дал: говорит «к чему?» Постарайся понять этот вопрос, в нем много лестного для тебя смысла. Архангельский достанет билет, но только мне одному, т. к. он сам с Дмитриевым едет в Москву и будет просить билет на три лица. На четыре, говорит, нельзя. Сообщи мне поподробней и поясней, чем

порешили дело о пансионе, а то из предыдущих писем я ничего не понял. Ну, до скорого свидания, Зинурочка. Целую тебя. Передай поклон В<ере> И<гнатьевне> и всем остальным. Да, объясни, пожалуйста, про какое это спокойствие я ей говорил? Я что-то не помню ничего такого, а может и забыл. Прощай.

Твой Лео.

[1] На самом деле Андреев выехал в Петербург позже. 17 августа он записывает в дневнике: «Я отложил свой отъезд до 20 или 21. Не хочется что-то уезжать» (*Дн4*. Л. 66 об.). А 3 сентября констатирует; «Вот уже полторы недели, как я в Петербурге» [2, с. 81].

39

9 декабря 1891. Москва

9 декабря.

Все идет в высшей степени хорошо. Без всяких затруднений перевез сам на извозчике вещи на Курский вокзал, отправился затем на извозчике (поезд наш опоздал на час и я боялся не застать Карташева в Правлении) в правление и весьма легко достал билет. Карташева я сам даже не видал, а попросил только передать ему карточку. Оттуда отправился в Кремль — и вот сейчас я сижу у Лещинского. Благодаря тому, что все идет удачно, настроение мое несколько улучшилось и я настолько уже спокоен, что кажется в состоянии буду спать. О тебе, дорогая моя Зинурочка, продолжаю неустанно думать и соображать, что ты делаешь в каждый данный момент. А на самом деле, что ты сейчас делаешь? Сейчас 4 часа, ты только что пришла с курсов, и наверное, в ожидании обеда лежишь и думаешь о реферате или обо мне. Да, кстати о реферате. Как хорошо, что в последнюю минуту на вокзал явился Комаров и отвлек твои мысли от меня и перенес их на этот самый реферат. Ну до свиданья. Тысячу раз целую. Прости, что мало: некогда.

Твой Л. Андреев.

40

11 декабря 1891. Орел

11 декабря.

Вот я и дома, дорогая моя Зинурочка, — и благодарю тебя за это, крепко благодарю. Приехал я так: на вокзале меня никто не встретил (Арханг<ельский> не получил моего письма) и я один приехал домой и даже въехал на извозчике на двор — никто не видал. Потом я вбежал в дом: мать сперва было не узнала, а там слезы, целые реки слез. К счастью, была у нас тетя, которая несколько привела мать

в чувство, хотя и сама плакала. Только что я успел прилечь соснуть, пришел Архангельский, за ним Немолякин с сестрой и просидели весь вечер. Все вообще обнаруживают большую радость по поводу моего приезда. Не было вчера одного только человека и одного этого мне больше всех хотелось видеть. Я говорю не про Дмитриеву, а про Ильина, который прибыл в Орел накануне меня. Сейчас был я у Подобед — ну нисколько не изменились: так же молчаливы и скучны. Замечательная вещь, Зинурочка: всего только второй день я в Орле, а кажется, что никогда не уезжал из него. Все питерское представляется сном. И знаешь, совсем не так хорошо я себя чувствую, как ожидал: скучно мне без тебя. Как вспомню, что тебя нет со мной, что я не могу, как только захочу, подойти к тебе, так все окружающее разом теряет в моих глазах всякий интерес и значение. Сегодня предстоит нелегкая обязанность: играть роль облагодетельствовавшего. Не привык я к ней. Да вот еще какая штука: вчера, награждая своих конфектами, я совсем забыл, сколько кон<фект> моих и сколько ваших, и решивши наугад, что ваших четыре коробки, остальные роздал. Потом только схватился я, что ваших пять, а не четыре, но уж взять назад неловко было. Думаю устроить фальсификацию: купить коробку у Губста и сказать, что это из Питера. Мать очень благодарна за материю. Что касается шарфа, то он ей очень понравился — она назначила за него 5 руб., — но только говорит, что слишком для нее ярок. Рассказал я ей, что ты для меня делала — она сказала, что она это всегда подозревала и потому только не так сильно беспокоилась обо мне. Зинурочка, как я люблю тебя, моя голубочка, как мне совестно пред тобой, что я отнял у тебя последние деньги и вдобавок еще как будто выражал недовольство, что мало. Ну пока покончу письмо. О том, как тут без меня жили, поговорю после. Жду твоего письма, деточка. Как идет дело с моим прошением. Прощай, целую тебя, мою голубочку. Не изменила еще мне? А я гляжу на твое колечко и вспоминаю тебя и думаю, что без тебя мне на свете жить не стоит. Прощай.

Твой Л. Андреев.

41

16 декабря 1891. Орел

16 декабря.

Первым делом, Зинурочка, сообщу тебе то, что для тебя будет новостью, а здесь давно уже стало ходячей истиной. Вы, т. е. четыре сестры и Борис, получили наследство. Каждая из сестер по тысяче, а он 11 тысяч. Тебе и Варваре, как совершеннолетним, деньги будут

выданы в конце этого месяца или в начале будущего, прямо в руки. Когда мне сказали об этом дома, я было не поверил, но потом увидел Наталью и она подтвердила это. Вчера встретился еще с Борисом и Лелькой Зайцевым, и Борис снова уверил меня, что деньги эти не миф и будут вами обязательно получены. Вот здорово-то, Зинурочка! Ты теперь можешь прекраснейшим образом устроить свою жизнь: урок передашь мне, можешь, если захочешь, и с пансионом развязаться, но ты едва ли этого захочешь. А что самое главное: ты можешь теперь приехать в Орел. Остановиться можно у Натальи, у нее комната большая. Тебе только предварительно стоит обратиться письменно к дяде, который ведет дела, и узнать, когда в точности получите вы деньги. Теперь перейду к себе. Совсем я, Зинурочка, завертелся, гуляю напропалую. Смотри, как и с кем провожу я время. Во вторник у меня присутствуют Немол<якин> с сестрой и Архангельский, мы слегка выпиваем; в среду мы с Арх<ангельским> вместо бани попадаем к Ильину, пьем с ним и идем к Дмитриевым все вместе. В четверг я, Арх<ангельский> и Ильин у Коссовых, в пятницу я, Арх<ангельский> и Козлов у Натальи (Ильин в пятницу утром уехал на неделю в Москву). В субботу у меня гости: 4 Подобед, Дмитриева, Овечкина, Наталья, Немолякина, Козлов, Лещинский, Арх<агельский>, Немолякин и Поляков; утром перед этим я был на именинах у Стаценко, а в воскресенье утром на именинах у Коссова, вечером был у Подобед, где познакомился с Ридигер; сегодня вечером иду к Дмитр<иевым>, а завтра утром к Немолякину, вечером же к Пановым. Соня приехала только вчера. Видишь, Зинурочка, как разнообразно провожу я время. Изменять тебе не изменял, тем паче с Дмит<риевой>. Правда, она ко мне слишком хорошо относится, я ей плачу тем же, но от *такого* отношения переход к измене слишком труден. Меня все находят сильно переменившимся, и кто только ни увидит в первый раз, обязательно кричит: «ах, как вы похудели и подурнели, ах, какие у вас волосы!» и т. д. Надоели они мне с этими аханьями до страсти. Относятся все ко мне хорошо; девицы Подобед, несмотря на свою велию застенчивость (?), чувствуют себя со мной как со своим человеком: просят доставать им молодых людей, устраивать увеселения и т. п. Только с двумя лицами отношения у меня не совсем в порядке. Первое — Наталья. Хотя в первый же день по приезде я услыхал о ней много такого, что уменьшило мою и без того невеликую охоту видеть ее, я тем не менее был у нее и даже пригласил ее к себе, в субботу и старался не обращать внимания на все те претенциозные глупости, которые всегда ее отличали: напр., изволила прочесть мне нотацию за то, что я сказал Варвара, а не

В<арвара> Н<иколаевна>. Не обращал я внимания потому, что хотел привлечь Нат. в круг удовольствий, центром которых является моя особа, и не для себя, конечно, ибо мне без Натальи и ее глупостей много веселей, а для нее собственно, ибо она одна скучает, хотя ей и «увлекаются» (?). Но в субботу Наталья вела себя так несуразно, изрекала такие вещи, что я, хотя и сдержался и ничего не заметил ей, тем не менее теперь уж постараюсь как можно менее видеть ее. Она стала мне физически противна, и я совершенно не могу выносить ее присутствия. Я знаю, тебе это неприятно, но ты сама хорошо знаешь, что такое Наталья, и не станешь вину случившегося слагать на меня. Второе — Ильин. Ильин страшно боялся объяснения как с моей стороны, так со стороны знакомых, которым он всем чем-нибудь да понапакостил, и потому боялся ходить к ним. К его удивлению не только я не потребовал от него никаких объяснений, но даже устроил так, что и знакомые их не требуют. Благодаря этому сердце грешника размягчилось настолько, что он сам стал искать объяснений, от коих в свою <очередь> уклоняюсь, и даже на день отложил свой отъезд в Москву, хотя никто не просил его об этом. Хотя мы ни слова не сказали друг другу лично о себе, и все время вращались на общих вопросах, но он, кажется, остался таким же, как и прежде. Мне было, Зинурочка, ужасно завидно, когда я узнал, что ты была на «Демоне»[1] и будешь на «Гугенотах»[2]: мне так хотелось их посмотреть. Большое тебе, деточка моя, спасибо за твое письмо: я знаю, как ты любишь писать письма, и полученное мною нынче служит *большим* доказательством твоей любви, и что бы там, Зиночек мой, ни было, знай, что без твоей любви пропащий я человек. До свиданья. Целую тебя и твои лапочки. Твой без изъятий

Л. Андреев.

Я уж, говорят, немного поправился, а вернее, привыкли к моей худобе.

Мать кланяется.

---

[1] Опера Антона Рубинштейна (1875).

[2] Опера немецко-французского композитора Джакомо Мейербера (1836).

42

22 декабря 1891. Орел

22 декабря.

Зинурочка, что с тобой, отчего ты молчишь? Меня твое молчание беспокоит. Хотя я не изменил тебе и не сделал, кажется, ничего такого, о чем не мог бы после рассказать тебе — но мне все время

представляется, что я в чем-то виноват перед тобой. Представлялось это и дорогой домой и теперь все время представляется. Но в чем вина — не понимаю. Она, очевидно, не в недостатке любви, ибо люблю тебя я очень сильно, и не в моем здешнем поведении, которое скверно, конечно, как и всегда, но не заключает в себе ничего такого, что могло бы оскорбить тебя. Только видишь, Зинурочка, какая вещь: кажется мне, что я хоть люблю тебя, но слишком мало высказываю свою любовь — и в этом, по всему вероятию, состоит моя действительная, или мнимая вина. Правда это или нет, Зиночка?

Вдобавок, я еще сознаю, что в прошлом моем письме также очень мало видна была моя любовь; едва ли также можно ее увидеть в том, что я редко пишу тебе. Только на все это есть свои причины, и надеюсь, ты найдешь их заслуживающими внимания. Во-первых, в том письме я прежде всего извещал тебя о получении тобой наследства, а, видишь ли, сейчас же после этого заговорить тебе о моей любви — было бы несколько… неловко. Я знаю, мы давно уже перестали различать «твое» и «мое» и оба эти местоимения слили в одно: «наше»; знаю, что мне нечего смотреть на свое самолюбие, потому что в таком случае нужно было бы раньше посмотреть на него, в то время, когда у нищего суму брал; ты, наконец, знаешь, что те подачки, которые год тому назад меня, жившего трудом своих рук, привели бы в негодование, теперь не только не приводят в негодование, но переполняют душу умилением и заставляют слагать благодарственные гимны — чуть ли не в стихах даже. Что ж поделаешь — оподлел, только. Прибавилась, стало быть, к ряду прежних новая величина, которую в свое время нужно будет привести к одному знаменателю — имя ему ты знаешь — и больше ничего… Да так вот, видишь ли, о чем я хочу сказать: я хочу сказать, что, как я ни плох стал в нравственном отношении, но еще не дошел до того, чтобы спокойно переносить подозрение в том, что я люблю того, кто мне деньги дает. Хотя без сомнения, все это: и самоугрызения разные и опасения — все это одна лишь игра в благородные чувства, потому что в конце-то концов я и деньги возьму, и если что из старенького пожертвуете, то и от этого не откажусь — но это зависит от того, что я еще не совсем освоился с своей ролью. — А вот посмотри, что через год будет! Похерятся благородные чувства, как похерились раньше многие другие, как похерится когда-нибудь и вся жизнь — и стану я… Так вот почему, дорогая моя Зиночка, я и был так сух в прошлом письме. А пишу я тебе так редко потому, что трудно бывает доставать бумаги и марок. Твою вторую марку я наклеил на письмо к Арбузову (он прислал мне письмо на второй день моего

приезда сюда. Уговаривает все в Москву переходить и ручается за счастливую жизнь), а так как эти дни нас постигло временное безденежье, то я и принужден был ограничиваться тем, что в голове писал к тебе письма — не такие: это против моего желания вышло таким амбициозным. Теперь скажу вкратце о моей жизни. Сутолока вся прекратилась — и я довольно изрядно скучаю. Думаю все больше о том, когда я это все к одному знаменателю приводить буду — и пью водку, где придется. Изображаю — к сожалению, неудачно — дон-Жуана и стараюсь ухаживать за разными девами и девицами, но не клеится дело, отвык. У Дмит<риевых> бываю довольно редко, и хотя только раз был трезвый, а то все пьяный — измены однако никакой не учинил и едва ли учиню. У Дм<итриевой> есть форменный обожатель в лице некоего из сослуживц<ев> Шведова, и дело, пахнет, кажется, «Исайя ликуй»[1]. Ильин еще не приезжал из Москвы и мне без него скучно. Вращаясь все среди людей высокого развития, начинаю несколько уподобляться им. Скучно, Зинурочка, жить на свете! Так скучно, что и в аду позавидуют. Расскажу кое-какие новости. На Болховской встретила меня твоя тетка, остановила и спрашивала о вас. Удивилась, что ты живешь в пансионе: она слышала, что ты живешь где-то на квартире. Спросила, нуждаетесь ли вы в деньгах, на что я, радостным голосом, заявил: очень. Она ответила, что «Александр сегодня или завтра (это было в понед<ельник>) посылает вам 50 р. к празднику, а там, когда нужно будет, еще пошлю». Вообще была очень милостива. Только, Зинурочка, если наследство получено, не будь овечкой и требуй от Зайц<ва> все деньги, а то выйдет то же, что с прежними. А закон на твоей стороне. Затем: в Петербург едут — Петр Федорович и *Иван Иванович Миронов*. Ну, других новостей пока нет. Что твой реферат? А Комаров? Увивается? И как дело с деньгами из Университета? Ты получишь письмо, вероятно, на первый день: будут в пансионе визитеры, ты будешь с ними весело говорить, а тут вдруг это письмо, едва ли веселое. Только ты наплюй на него. Я тебя, моя хорошая, милая деточка, люблю и всегда буду любить, а что касается остального — то все суета сует. Рано ли, поздно ли, хорошо ли, дурно ли — а все в конце концов один черт. До свиданья. Крепко-прекрепко целую тебя, целую твои лапочки, глазки… и т. д. Понимаешь? Прощай.

Твой Л. Андреев.

Жду письма. Поклон всем и Радину.

---

[1] Церковное песнопение, исполняемое при обряде венчания.

43

23 декабря 1891. Орел

23 декабря.

Пользуюсь оказией в лице П<етра> Ф<едоровича>. Зиночка, ты серьезно беспокоишь меня. Ничем не могу объяснить твоего молчания. Уж не больна ли ты? Или поспела изменить? Пиши мне, деточка, пиши больше: я очень тоскую здесь, как и везде и всегда. Хотелось бы хоть минутку посмотреть на тебя. Стоит передо мной твое личико, каким оно было на вокзале и мешает мне вдаваться в безобразия. Таким ли оно, это личико, осталось? Или улыбаться стало? Мое лицо стало шире, но теперь опять начинает вытягиваться. Не дождусь праздников — ну а что будет после них, боюсь подумать. Знаешь, я здесь хвалю Пет<ербург>, говорю, что жить там не особенно дурно, и действительно, по временам с удовольствием вспоминаю о своей в нем жизни, но когда я начну представлять свою будущую в нем жизнь, — я прямо начинаю ненавидеть Питер. Опять поганый Университет с погаными лекциями, профессорами и студентами, опять дервизовские обеды[1], опять бесцельное шатанье, говоренье, опять лестное участие в кружках полоумных саморазвивателей, опять тоска, опять скука. Только одно хорошее из всех этих «опять» и есть — это ты, хорошая моя деточка. Да и на тебя-то тошно смотреть: будь ты весела и счастлива — а то тоже, беганье с пансиона на курсы, уроки, слезы, нездоровье, ссоры… Голубочка ты моя, да что же это за жизнь проклятая, деваться некуда. И насколько ни загляни вперед — все то же и то же, вплоть до апофеоза, т. е. такого же глупого, бесцельного возврата туда, откуда вышел — в бесконечность. А ты говоришь: не пить! Да разве можно не пить? Зачем не пить? И скорей, и веселей, и безумней, и счастливей и полней становится жизнь, когда мозг отуманен водкой. Тоже, как и все, жить начинаешь, тоже становишься восприимчив и к горю, и к радости. А то нет тебе ни горя, ни радости, одна скука смертная. Детурочка моя, напиши, что хоть тебе весело, что хоть ты довольна. Дорогая моя, как бы хотел я сейчас спрятаться у тебя на груди, как бы хотел хоть поплакать при тебе, а то без тебя и слезы-то не льются — а с слезами легче. Пиши мне, Зиночка, пиши больше, больше. Буду ждать, как и все это время, каждый день от тебя писем. Дай Бог только, чтоб не так безуспешно, как до сих пор. Целую тебя, деточка, в полной уверенности, что ничьи еще горячие губы не прикасались к тебе. Прав я, в этой надежде? До свиданья, голубка моя, целую, целую…

Твой Л. Андреев.

[1] В Петербурге существовали две дешевые столовые, связанные с фамилией фон Дервиз: одна — на Васильевском острове (12 линия В.О., дом 23), а вторая — на Петербургской стороне, на Ружейной улице. Описанию малоаппетитных десятикопеечных обедов в подобном заведении посвящен неопубликованный при жизни рассказ Андреева «Голодовка» (РАЛ. MS.606/В.4). В дневнике, в записи от 5 октября 1891 г., он упоминает «очень скверный, грязный обед у фон Дервиза» [2, с. 112].

44

24–27 декабря 1891. Орел

24 декабря,
вечером.

Зина, прошу тебя, не выводи меня из терпенья! Почему ты молчишь? Ты представить не можешь, как действует на меня это молчанье и вечное ожидание письма. Пишешь, пишешь письма, отправляешь их куда-то в пространство — и ни слуху, ни духу. Получила ли ты письмо, затерялось ли на дороге, жива ли ты, здорова, или умерла — ничего неизвестно. Молчание. Ведь это черт знает что! Неужели твоей любви хватило на одно лишь письмо — а потом даже двух строк написать нельзя. Я не прошу от тебя длинных посланий, требующих времени и желания писать, — я требую, чтоб ты написала хоть одно, два слова, чтоб мне не приходилось строить разных предположений и догадок о том, что с тобой. Я не требую ни любви от твоих писем, ни утешения — я требую только, чтоб ты не ухудшала моего и без того скверного положения, чтоб ты не взвинчивала моих нерв молчанием. Я знаю, что значит это молчание, знаю по опыту — но если ты изволишь увлекаться, развлекаться и т. д., то будь хоть вежлива, не оставляй меня в неизвестности. Помню, ты молчала целый месяц; я, идиот, делал предположения о твоей болезни, чуть не проливал слез от жалости, а после оказалось, что ты это время разъезжала по Аркадиям и т. д. Если это письмо оскорбит тебя, вини себя. Я нахожусь в том состоянии, когда достаточно пустяка, чтоб довести меня до бешенства — и мне не до деликатностей. Если я не получу письма от тебя за эти два проклятые дня, пока мое письмо дойдет до тебя, изволь мне сейчас же ответить, как только его получишь — больше четырех дней ждать не буду. Если ты больна, то заставь написать Варвару, но обязательно напиши.

О себе мне писать нечего. Все то же. Скверно во всевозможных отношениях. Изменить, к сожалению, еще не изменил, к сожалению, потому что ты заслуживаешь этого. Отделалась — и довольна!

Прощай

Твой Л. Андреев.

27 дек.

Прости, Зиночка. Письмо мое несколько грубо, но не придавай ему большого значения. Я посылаю его — чего не хотел было делать — потому, что до сих пор ты молчишь, и я до сих пор очень плохо чувствую себя от неизвестности. Прошу тебя, напиши мне.

Мне пришла в голову новая мысль: что ты сердишься на меня за мой отзыв о Наталье. Но это было бы глупо, и я этого не допускаю. До свидания. Целую тебя.

Твой Л. Андреев.

45

29–30 декабря 1891. Орел

29 декабря.

Не знаю, Зиночка, что отвечать на твое письмо. Спасибо тебе за то, что ты его написала, но только в следующий раз не пиши так, чтобы из чтения письма можно было подумать, что никаких ты писем от меня не получала, ничего о моей жизни не знаешь и т. п. Хотя я уж привык к тому, что ты пропускаешь мимо ушей половину того, что я тебе говорю, но все-таки неприятно читать такие нелепые вещи: «тебе скучно в моем обществе и весело в обществе Овечкин<ой> и т. д.». Я повторю тебе еще 1001 раз, что мне, друг мой, к сожалению, скучно *везде*: скучно в обществе Радиных, Конст. etc., скучно в обществе Дмит<риевых>, Овеч. etc., скучно в обществе собственного *я*, скучно и в твоем, потому что ты мое второе я. Скучал я в Питере, скучаю в Орле, буду скучать везде, куда ни попаду — буду скучать по той простой причине, что веселье и скука зависят не от того, какие люди окружают субъекта, а от того, каков сам субъект. И скука приходит ко мне не извне, а постоянно находится внутри меня. Всюду ношу я ее с собой в виде «проклятых вопросов» — и не решаются эти вопросы оттого, что сейчас предо мною сидит Арханг<ельский>, а завтра будет сидеть Радин. И если бывает у меня минута веселья, так мне за эту минуту приходится платить столькими муками, что тебе никогда и не снилось. Да — а ты, Зинурочка, с твоим крохотным, детским миросозерцанием, с своей несчастной привычкой делать обязательным для всех то, что тебе кажется хорошим — ты говоришь такие наивные и смешные вещи: «ты унижаешь меня и себя тем, что бываешь у Дмит<риевых>» и т. д.

Милая моя — да разве может быть речь о самолюбии и унижении там, где дело идет о жизни и смерти? Разве может преступник, которого сейчас повесят, оскорбляться тем, что у палача грязные руки и от него дурно пахнет? Эх, Зиночка, Зиночка, пора тебе понять, что

это не одни только слова, что тяжело мне жить, нестерпимо тяжело, что тот день, когда я себя убью, будет счастливейшим днем в моей жизни. И недалек этот день, недалек… Сейчас, Зиночка, я разрешаю тебе рассмеяться и пожать плечами.

Действительно, я несколько увлекся и забыл, что подобные слова, когда за ними не следует *дело*, смешны и жалки. Эх, если б ты испытала хотя десятую часть того, что я сейчас испытываю! Ну да все это пустяки. Поговорим о чем-нибудь, более серьезном. Ты часто бываешь в театре? Это хорошо. Только не нужно исписывать об этом целые страницы. Ты мне не изменяешь — это очень хорошо, но только не забывай, что это отрицательное достоинство. Нужно еще положительное — нужно *любить*. Радин не достал денег? Жаль. Деньги нужны позарез. (Да, Зиночка, нетактично писать о том, что театр берет у тебя массу денег, — и сейчас же прибавлять, что ты не можешь послать марок за *неимением денег*).

30 декабря.

Спасибо, Зинурочка, за письмо. Я тебе вполне верю, и знаю, что ты мне не изменила и, быть может, даже не хочешь изменять. Молчание же твое так скверно подействовало на меня потому, что я все время нахожусь в очень дурном настроении, меня преследуют разные тяжелые мысли о будущем — и вот как раз в это время ты, как показалось мне, начинаешь дурно ко мне относиться. Ты знаешь, голубочка моя, я не шутя говорю тебе, что без тебя мне жизнь не в жизнь. Я могу ухаживать за другими, могу в погоне за разными ощущениями, которые так для меня необходимы, могу даже изменять тебе — но всегда ты для меня останешься единственно милой, дорогой, единственно мною любимой Зинурочкой. Я сержусь на тебя, оскорбляю тебя — в то время, когда сержусь, всего сильнее люблю тебя. Я знаю, что в наших отношениях я всегда почти грешил против тебя; знаю, что сам я требователен, а никаких требований с твоей стороны не исполняю — но вот за это все я и люблю тебя. Не люблю тебя за одно: за то, что ты не хочешь понять меня, не хочешь понять того, что я и сам не хотел бы быть таким человеком, что я отдал бы черт знает что за то, чтобы иметь возможность не пить, не безобразничать и т. д. Я не слепой; я знаю, к чему ведут меня водка и безобразия, но я не могу отказаться от них, не могу, потому что мне *скучно*. Да, скучно, все дело в этом *скучно*. А скучно потому, что у меня нет живого дела, а дела не может быть потому, что я не люблю людей, не верю ни во что, ни в Бога, ни в душу, ни в науку, ни в себя, наконец. И остается мне жить одними ощущениями, другими

словами, шаг за шагом убивать себя. Это я и делаю и не могу не делать.

Поблагодари Радина за деньги. Хотя они очень нужны здесь, но я их оставлю у тебя, но не <на> квартиру, а на то, чтобы доехать до Питера, потому что здесь денег я достать буквально не могу ниоткуда. У Дмитр<иевой> я брать *не хочу*. И если ты мне не вышлешь денег, я принужден буду остаться в Орле. Ах, Зинурочка, как скверно становится мне, когда подумаю, какая жизнь предстоит мне в П<итере>. Опять эти обеды, опять нужда, опять вся эта гадость. А тут еще в Университет платить. Как, откуда, чем — а черт ее знает. Хочется мне в Петербург, а как подумаю обо все этом, так кажется, что никогда б не заглянул туда. Я думаю ехать в П<итер> к 25 января. Узнай, голубчик, у Радина, нужно мне будет докторское свидетельство или нет. Денег, чтоб уплатить штраф и другие долги, мать достала под вексель. Кроме того, Дмит<риева> дала ей 10 руб. — Ильин приехал на второй день Р<ожде>ства, видимся часто, но отношения чисто внешние, формальные. Когда остаемся вдвоем, то молчим. 3 января приедет в Орел Алек. Петрович, кажется, на один день. Я ему передал твои слова о карточке. Он говорит, что, по условию, должен сперва получить твою. Был у тебя Петр Федор.? Деньги на поездку можешь послать с ним. Голубочка моя, как мне жалко, что ты больна. Я, как ни стараюсь, все здоров. Только нервы расстроены черт знает до чего, даже валериановку пью, а ты знаешь, как это мне приятно. Деточка моя, не сердись на меня. Забудь обо всем, помни только, что я люблю тебя, что я сплю и вижу, как бы расцеловать тебя, мою хорошую, милую Зинурочку. Ну до свиданья. Скоро еще напишу, мне доставляет удовольствие писать к тебе. Целую тебя и прощаю тебе все твои прегрешения. Ты за это не сердишься? Еще раз прощай.

Твой Л. Андреев.

Здоровье матери плоховато: одна — а работы и заботы на десятерых хватит. Слыхала: Теоф<илия> Ив. поступила на сцену, получает 25 руб. Говорят, ей кто-то покровительствует. Кланяйся Варваре и В. И. Целую тебя.

Принятые сокращения

Сокращенно даются ссылки на рукописные подлинники дневников Л. Андреева, хранящиеся в Русском архиве в Лидсе (РАЛ; Leeds Russian Archive). Лидский университет (Великобритания)[6].

Дн1 — Дневник. 1890.03.12 — 1890.06.30; 1898.09.21.// РАЛ. MS.606/ E.1.

Дн2 — Дневник. 1890.07.03 — 1891.02.18.// РАЛ. MS.606/ E.2.

Дн3 — Дневник. 1891.02.27 — 1891.04.13; 1891.10.05; 1892.09.26.// РАЛ. MS.606/ E.3.

Дн4 — Дневник. 1891.05.15 — 1891.08.17 // РАЛ. MS.606/ E.4.

Дн5 — Дневник. 1892.09.26 — 1893.01.04 // РАЛ. MS.606/ E.6.

Литература

1. Адрес-календарь Орловской губернии. Орел: Изд. Орловского губерн. статистического о-ва, 1885. 263 с.

2. *Андреев Леонид*. Дневник 1891–1892 гг. / публ. Н.П. Генераловой // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1991 г. СПб., 1994. С. 81–142.

3. *Андреев Л.Н.* Дневник. 1897–1901 гг. / подгот. текста М.В. Козьменко и Л.В. Хачатурян (при участии Л.Д. Затуловской), сост., вступ. ст. и коммент. М.В. Козьменко. М.: ИМЛИ РАН, 2009. 296 с.

4. *Андреев Л.Н.* Полн. собр. соч. и писем: в 23 т. М.: Наука, 2005. Т. 1. 808 с.

5. «Да, вы друг, истинный друг…» Письма Леонида Андреева к Л.Н. Дмитриевой (1891–1892) / вступ. ст., подгот. текста и коммент. Л.Д. Затуловской // Леонид Андреев: Материалы и исследования. М.: ИМЛИ РАН, 2012. Вып. 2. С. 5–30.

6. «Дневник» Леонида Андреева / публ. Н.П. Генераловой // Литературный архив: Материалы по истории русской литературы и общественной мысли. СПб.: Наука, 1994. С. 247–294.

7. *Кен Л.Н., Рогов Л.Э.* Жизнь Леонида Андреева, рассказанная им самим и его современниками. СПб.: ООО «Издательско-полиграфическая компания “КОСТА”», 2010. 430 с.

8. *Козьменко М.В.* Артур Шопенгауэр в ранних дневниках и позднейших произведениях Леонида Андреева: К проблеме корреляции философской и художественной картин мироздания // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2010. № 6. С. 21–30.

9. *Козьменко М.В.* Писатель Поль Бурже и гимназист Леонид Андреев: (Круг чтения и парадигмы поведения и письма) // Новый филологический вестник. 2009. № 3 (10). С. 108–116.

10. *Козьменко М.В.* Э. фон Гартман и Л.Н. Андреев: переклички двух пессимизмов. Статья 1 // Русская литература. 2021. № 3. С. 53–64. DOI: 10.31860/0131-6095-2021-3-53-64.

[6] Выражаем глубокую благодарность хранителю Русского архива в Лидсе Ричарду Дэвису за предоставление расшифровок рукописей дневников Л. Андреева, а также за большую помощь в подготовке публикации.

11. *Мец А.Г., Заверный Л.Г.* Гедройц Сергей // Русские писатели. 1800–1917: Биогр. словарь. М.: Большая Советская энциклопедия, 1989. Т. 1. С. 535–536.

12. *Фатов Н.Н.* Молодые годы Леонида Андреева. М.: Земля и фабрика, 1924. 368 с.

Research Article and Publication of Archival Documents

Leonid Andreev's Letters to Zinaida Sibileva Part 1 (1890–1891)

© 2021. Natalia P. Generalova, Mikhail V. Kozmenko

Institute of Russian Literature (Pushkin House) of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia

A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Abstract: This is the first complete publication of Leonid Andreev's letters to his first lover, Zinaida Nikolaevna Sibileva. The course of their relationships between 1889 and 1892 was stormy and very uneven. The letters reveal a lot of previously unknown features of Andreev's life as a schoolboy and student. But more important is a certain diary of writer's "mental states" reflected in them, the stream of his complex, sometimes "borderline" psychological experiences. Believing (with a reference to the authority of Maupassant) that the letters most accurately highlight the personality of a person, that they "reveal the soul without any embellishment," Andreev at the same time regarded his epistolary opuses (as well as his diaries) as a kind of writing exercise.

Keywords: Leonid Andreev, writer's biography, letters, archives, Russian literature of the early 20th century, the culture of modernism.

Information about the authors: Natalia P. Generalova — DSc in Philology, Leading Research Fellow, Institute of Russian Literature (Pushkin House) of the Russian Academy of Sciences, Makarov Emb. 4, 199034 St. Petersburg, Russia. E-mail: generalovanatalia@gmail.com

Mikhail V. Kozmenko — PhD in Philology, Leading Research Fellow, A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Povarskaya 25 a, 121069 Moscow, Russia. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1229-2210 E-mail: uzium@mail.ru

For citation: "Leonid Andreev's Letters to Zinaida Sibileva. Part 1 (1890–1891)," text prep. by N.P. Generalova, comm. by M.V. Kozmenko. *Literaturnyi fakt*, no. 4 (22), 2021, pp. 49–135. (In Russ.) https://doi.org/10.22455/2541-8297-2021-22-49-135

References

1. *Adres-kalendar` Orlovskoi gubernii* [*Orel Government Address Book*]. Orel, Izdatel'stvo Orlovskogo gubernskogo statisticheskogo obshchestva Publ., 1885. 263 p. (In Russ.)

2. Andreev, Leonid. “Dnevnik 1891–1892 gg.” [“1891–1892: The Dairy”], publ. by N.P. Generalova. *Ezhegodnik Rukopisnogo otdela Pushkinskogo Doma na 1991 g.* [*The Yearbook of the Pushkin House's Manuscript Department for 1991*]. St. Petersburg, 1994, pp. 81–142. (In Russ.)

3. Andreev, L.N. *Dnevnik. 1897–1901 gg.* [*The Dairy. 1897–1901*], text prep. by M.V. Kozmenko and L.V. Khachaturian (co-authored with L.D. Zatulovskaia), comp. and comm. by M.V. Kozmenko. Moscow, IWL RAS Publ., 2009. 296 p. (In Russ.)

4. Andreev, L.N. *Polnoe sobranie sochinenii i pisem: v 23 t.* [*Complete Works and Letters: in 23 vols.*], vol. 1. Moscow, Nauka Publ., 2005. 808 p. (In Russ.)

5. “’Da, vy drug, istinnyj drug…’ Pis'ma Leonida Andreeva k L.N. Dmitrievoj (1891–1892)” [“’Yes, you are a friend, a true friend…’ Leonid Andreev’s Letters to L.N. Dmitrieva (1891–1892)”], introd., text prep. and comm. by L.D. Zatulovskaia. *Leonid Andreev: Materialy i issledovaniia* [*Leonid Andreev: Materials and Research*], issue 2. Moscow, IWL RAS Publ., 2012, pp. 5–30. (In Russ.)

6. “’Dnevnik’ Leonida Andreeva” [“’The Dairy’ by Leonid Andreev”], publ. by N.P. Generalova. *Literaturnyi arkhiv: Materialy po istorii russkoi literatury i obshchestvennoi mysli* [*Literary Archive: Materials on the History of Russian Literature and Social Thought*]. St. Petersburg, 1994, pp. 247–294. (In Russ.)

7. Ken, L.N., Rogov, L.E. *Zhizn` Leonida Andreeva, rasskazannaia im samim i ego sovremennikami* [*The Life of Leonid Andreev, Told by Himself and His Contemporaries*]. St. Petersburg, OOO “Izdatel'sko-poligraficheskaia kompaniia “KOSTA” Publ., 2010. 430 p. (In Russ.)

8. Kozmenko, M.V. “Artur Shopengauer v rannikh dnevnikakh i pozdneishikh proizvedeniiakh Leonida Andreeva: K probleme korreliatsii filosofskoi i khudozhestvennoi kartin mirozdaniia” [“Arthur Schopenhauer in the Early Diaries and Later Works of Leonid Andreev: On the Problem of the Correlation of Philosophical and Artistic Pictures of the Universe”]. *Izvestiia RAN. Seriia literatury i iazyka*, no. 6, 2010, pp. 21–30. (In Russ.)

9. Kozmenko, M.V. “Pisatel’ Pol’ Burzhe i gimnazist Leonid Andreev: (Krug chteniia i paradigmy povedeniia i pis’ma)” [“The Novelist Paul Bourget and the Schoolboy Leonid Andreev (Choice of Reading Matter and its Influence on Behaviour and Writing Practice)”]. *Novyi filologicheskii vestnik*, no. 3 (10), 2009, pp. 108–116. (In Russ.)

10. Kozmenko, M.V. “E. fon Gartman i L.N. Andreev: pereklichki dvukh pessimizmov. Stat’ia 1” [“E. von Hartmann and L.N. Andreev: Exchanges Between the Two Pessimisms. Article 1”]. *Russkaia literatura*, no. 3, 2021, pp. 53–64. DOI: 10.31860/0131-6095-2021-3-53-64 (In Russ.)

11. Fatov, N.N. *Molodye gody Leonida Andreeva* [*The Early Years of Leonid Andreev*]. Moscow, Zemlia i fabrika Publ., 1924. 368 p. (In Russ.)

Статья поступила в редакцию: 19.10.2021
Одобрена после рецензирования: 05.11.2021
Дата публикации: 25.12.2021

The article was submitted: 19.10.2021
Approved after reviewing: 05.11.2021
Date of publication: 25.12.2021